Федор Михайлович Достоевский

Дядюшкин сон

Часть сборника
Чужая жена и муж под кроватью (сборник)

Федор Михайлович Достоевский
Дядюшкин сон

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175020
Достоевский Ф.М. Чужая жена и муж под кроватью / Авторский сборник: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-21238-5

Аннотация

«Дядюшкин сон» – комическая повесть о старике-волоките, эдаком «обломке аристократии». Жилеты и духи, перчатки и галстуки, все это не в состоянии превратить «мертвеца на пружинах» в юношу…

Содержание

Глава I	5
Глава II	13
Глава III	20
Глава IV	34
Глава V	52
Глава VI	71
Глава VII	84
Глава VIII	96
Глава IX	110
Глава X	128
Глава XI	140
Глава XII	153
Глава XIII	165
Глава XIV	184
Глава XV	194

Федор Михайлович Достоевский
Дядюшкин сон

(Из мордасовских летописей)

Глава I

Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, – отчего она, при всем этом, умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сановитая дама была первая сплетница в мире или по крайней мере в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии; сплетники – краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе как о самых высоких материях. Она знает, например, про кой-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае, и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать че-

ловека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика! – Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным comme il faut[1], с которого все берут образец. Насчет comme il faut она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах, она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостию их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карльсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома in quarto[2], так был обворожен приемом и любезностию Марьи Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку и из самого Карльсруэ. Марью Александровну сравнивали даже,

---

[1] как надо (франц.). В дворянско-буржуазной среде – о том, кто вполне благовоспитан, о том, что отвечает правилам светского приличия.

[2] в одну четверть листа (лат.)

в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не gentilhomme[3] хорошей породы; а потому, естественно, испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в Мордасове? Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах?» Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и – ничего! Все оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеич, лишился своего места за неспособностию и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ни-

[3] дворянин (франц.)

чуть не бывало: Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша, Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде.

Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеиче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своем белом галстуке. Но вся эта сановитость и представительность – единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне; это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он мог бы приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в подгородную де-

ревню, в трех верстах от Мордасова, где у нее сто двадцать душ, – мимоходом сказать, всё состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеича при себе единственно за то, что он служил и получал жалованье и… другие доходы. Когда же он перестал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностию и совершенною бесполезностию. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час и довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели; три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и – доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас, года полтора назад, по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвеича? Зинаида, бесспорно, красавица, превосходно воспитана, но ей двадцать три года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одною из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях, полтора года назад, с уездным учителишкой, – слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове, но

скажите: кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было и Зина написала записочку (я даже думаю, что это было непременно так): какова же ловкость со стороны Марьи Александровны! каково замято, затушено неловкое, скандалезное дело! Ни следа, ни намека! Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету; а между тем, может быть, бог знает как работала, чтоб спасти неприкосновенною честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно: какие здесь женихи? Зине только разве быть за владетельным принцем. Видали ль вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков? Правда – молод, недурен собою, франт, полтораста незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун, с какими-то новейшими идеями! Да и что такое полтораста душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе!

Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вро-

де похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое и осталось у меня в столе, в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло пять месяцев – и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие: рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более: князь произвел, в некотором смысле, переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове: тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить: что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны, – а для

этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.

Глава II

Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится: до того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи, самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который мог бы иметь, если б захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет шесть или семь, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот, однако же, все, что я мог узнать о нем достоверного.

Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил все свое состояние и, в старости, увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он

отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти шесть месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Мордасове считались принадлежностию самого высшего общества, а потому, вместо досады, производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку – все, до последнего волоска, накладное и великолепного черного цвета; белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице и что эти пружины были, каким-то особенным образом, скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка, во время одного своего любовного похождения, в Италии. Он хромал на левую ногу; утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему, при каком-то другом похождении, в Париже, зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не

расскажут? Но верно было, однакоже, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однакоже, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства, – умерла, похоронив, ровно за месяц до своей смерти, своего законного наследника. Князь, совершенно неожиданно, сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения, ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед, по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново (свое новоприобретенное имение) и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же

составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад, с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с монплезирами и другими затеями.

Наконец князь воротился, но, к всеобщему удивлению и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманною и фантастическою. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели, по слабоумию князя, выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно, из боязни, что он опять все промотает. Мало того: иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять: мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове? Все это, как рассказывали, ужасно испугало князя, до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениямии, но – или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не узнавал сво-

их прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор.

Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешан, и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали. Узнали наконец одну капитальную вещь, именно: что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, бог знает какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках; что князь слушается ее во всем как ребенок и не смеет ступить шагу без ее позволения; что она даже моет его своими руками; балует его, носит и тешит как ребенка; что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и в особенности родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново, для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно; отрешает управителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы; но что управляет она хорошо, так что крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков; что остальное время он проводит с Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной английской кобыле, причем Степанида

Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках, на всякий случай, – потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветков, васильков; Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженные лакея и едет, на всякий случай, коляска. Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает: «Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» – то князь немедленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему «Bonjour, mon ami, bonjour!»,[4] и много подобных слухов ходило в Мордасове; князя никак не могли забыть: он жил в таком близком соседстве! Каково же было всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своею собственною особою пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны! Все переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга: что это значит? Иные собирались уже ехать к Марье Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным

[4] Здравствуй, друг мой, здравствуй! (франц.)

казалось, отчего именно князь остановился у Марьи Александровны, а не у кого другого? Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей както очень дальней родней. Но, чтоб разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, к которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только десять часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.

Глава III

Десять часов утра. Мы в доме Марьи Александровны, на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром, весьма дурного вкуса. Между окнами, в простенках, два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами, на столиках, опять часы. У задней стены – превосходный рояль, выписанный для Зины: Зина – музыкантша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности, в живописном беспорядке; между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны; на нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве бедной родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще недурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У

ней двое детей, где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасна обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы недурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, недурен собою. Но мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности: росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с могучею, дивною грудью. Ее плечи и руки – ан-

тичные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна; но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго. Мосье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда; по крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет; впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету, – не из маменькиных; Мозгляков никогда не смел спросить ее: чьи это волосы? В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным, подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее.

– Я так рада, так рада, Павел Александрович, – щебечет она, – что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного; это уж само собой! Я ужасна рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка! Но нет, нет! вы не поймете меня! вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверя-

ла вас! Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла: ты тогда гостила у тетки… Вы не поверите, Павел Александрович: я была его руководительницей, сестрой, матерью! Он слушался меня как ребенок! было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи; что-то даже как-будто пастушеское… Я уж и не знаю, как и назвать! Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностию, ce pauvre prince![5] Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне! Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет. Вы не поверите: он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей! Нет, надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно! Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я, впопыхах, обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок! Я ужасно люблю мелочи, даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи… и… покамест он еще сидит за своим туалетом…

– Да все то же, что уже рассказывал, Марья Александровна! – с готовностию подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в десятый раз, – это составляет для него

---

[5] этот бедный князь! (франц.)

наслаждение. – Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал, – можете себе представить, как я спешил! – прибавляет он, обращаясь к Зине, – одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! Впрочем, это в сторону! Ровно в шесть часов утра приезжаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу и греться, кричу: лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком: теперь, кажется, у нее пропало молоко… Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится! Не обращаю ни на что внимания; одним словом, спешу напропалую! Лошадей взял с бою: отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета, в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и два лакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо: лежи себе на боку; не здешнего прихода! Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик – тоже русская душа, спешим на подмогу и, таким образом, вшестером подымаем наконец

экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на водку. Думаю: верно, это тот самый князь! Смотрю: боже мой! он самый и есть, князь Гаврила! Вот встреча! Кричу ему: «Князь! дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда; впрочем, тотчас же почти узнал… со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает – кто я таков, и, кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге; ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил: он меня поразил, – ну, а ему-то где ж меня помнить! Рекомендуюсь; он в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет, ей-богу, плачет: я видел это собственными глазами! То да се, – уговорил его наконец пересесть в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно… Объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает; что Степанида Матвеевна, – а уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну? – она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала, – что эта Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании: отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать; может быть, и отец и дочь вместе; может быть, еще с прибавкою какого-нибудь племянни-

ка, служащего по питейной части… Одним словом, она до того была сконфужена, что дней на десять решилась распроститься с своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах (может быть, даже и на бобах); но стало невмочь без Степаниды Матвеевны! приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить; но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и, на самом повороте к иеромонаху Мисаилу, полетел с каретой чуть не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне; он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал, и вот мы здесь, а князь поправляет теперь наверху свой туалет, с помощию своего камердинера, которого не забыл взять с собою и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений или, лучше сказать – исправлений… Вот и вся история! Eine allerliebste Geschichte![6]

– Но какой он юморист, Зина! – вскрикивает Марья Александровна, выслушав, – как он это мило рассказывает! Но, послушайте, Поль, – один вопрос: объясните мне хорошень-

---

[6] Премилая история! (нем.)

ко ваше родство с князем! Вы называете его дядей?

– Ей-богу, не знаю, Марья Александровна, как и чем я родня ему: кажется, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. Я тут не виноват нисколько; а виновата во всем этом тетушка Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михайловне больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню; она-то и протурила меня ехать к нему, прошлого лета, в Духаново. Съездила бы сама! Просто-запросто я называю его дядюшкой; он откликается. Вот вам и все наше родство, на сегодняшний день по крайней мере…

– Но я все-таки повторю, что только один бог мог вас надоумить привезти его прямо ко мне! Я трепещу, когда воображу себе, что бы с ним было, бедняжкой, если б он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне? Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам, съели! Бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь, – пожалуй, обокрали бы его? Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие и коварные людишки, Павел Александрович!..

– Ах, боже мой, да к кому же его и привезти, как не к вам, – какие вы, Марья Александровна! – подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. – Ведь не к Анне же Николаевне везти его, как вы думаете?

– Однако ж, что он так долго не выходит? Это даже странно, – говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места.

– Дядюшка-то? Да, я думаю, он еще пять часов будет там одеваться! К тому же так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна!

– Ах, полноте, пожалуйста, что вы!

– Вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда! Ведь это полукомпозиция, а не человек. Вы его видели шесть лет назад, а я час тому назад его видел. Ведь это полупокойник! Ведь это только воспоминание о человеке; ведь его забыли похоронить! Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах!

– Боже мой, какой вы, однако же, ветреник, как я вас послушаю! – восклицает Марья Александровна, принимая строгий вид. – И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка! Не говоря уже о его беспримерной доброте, – и голос ее принимает какое-то трогательное выражение, – вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, mon ami! Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете. Но боже мой! Я и сама – ваших новых идей! Я понимаю, что основание вашего направления благородно и честно. Я чувствую, что в этих новых идеях новых есть даже что-то возвышенное; но все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете, я видела больше вас, и, наконец, я мать, а вы еще молоды!

Он старичок, и потому, на ваши глаза, смешон! Мало того: вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю и что надобно же что-нибудь сделать для века, и все это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира! Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем своим умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки! Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в современном нам обществе, так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке князь, князь и в лачуге будет как во дворце! А вот муж Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе выстроил, – и все-таки он только муж Натальи Дмитриевны, и ничего больше! Да и сама Наталья Дмитриевна, хоть пятьдесят кринолинов на себя налепи, – все-таки останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько не прибавит себе. Вы тоже, отчасти, представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужою ему, – а дурное то дитя, которое марает свое гнездо! Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, mon cher Paul,[7] и забудете вашего Шекспира. Предрекаю вам. Я уверена, что вы даже и теперь не искренни, а так только, модничаете. Впрочем, я заболталась. Побудьте здесь, mon cher Paul, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь, а ведь с моими людишками…

И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты,

---

[7] мой милый Поль (франц.)

вспомня о своих людишках.

– Марья Александровна, кажется, очень рады, что князь не достался этой франтихе, Анне Николаевне. А ведь уверяла все, что родня ему. То-то разрывается, должно быть, теперь от досады! – заметила Настасья Петровна; но заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом, из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать.

Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении; голос его дрожал.

– Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня? – проговорил он с робким и умоляющим видом.

– На вас? За что же? – сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза.

– За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна! Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще две недели… Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою участь… Но вы хмуритесь, вы сердитесь! Неужели и теперь я не узнаю ничего решительного?

Зинаида действительно нахмурилась.

– Я ожидала, что вы заговорите об этом, – отвечала она, снова опустив глаза, голосом твердым и строгим, но в котором слышалась досада. – И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то, чем скорее оно разрешилось, тем луч-

ше. Вы опять требуете, то есть просите, ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ все тот же, как и прежде: подождите! Повторяю вам, – я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашею женою. Этого не требуют насильно, Павел Александрович. Но, чтобы успокоить вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам окончательно. Заметьте еще: обнадеживая вас теперь на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительна к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободною в своем решении, и если я вам скажу, наконец, что я несогласна, то вы и не должны обвинять меня, что я вас обнадежила. Итак, знайте это.

– Итак, что же это, что же это! – вскричал Мозгляков жалобным голосом. – Неужели это надежда! Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежу из ваших слов, Зинаида Афанасьевна?

– Припомните все, что я вам сказала, и извлекайте все, что вам угодно. Ваша воля! Но я больше ничего не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю только: ждите. Но, повторяю вам, я оставляю за собой полное право отказать вам, если мне вздумается. Замечу еще одно, Павел Александрович: если вы приехали раньше положенного для ответа срока, чтоб действовать окольными путями, надеясь на постороннюю протекцию, например, хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, слышите ли это? А теперь – довольно, и, пожалуйста, до из-

вестного времени не поминайте мне об этом ни слова.

Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Мосье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Марья Александровна. За нею, почти тотчас же, госпожа Зяблова.

– Он, кажется, сейчас сойдет, Зина! Настасья Петровна, скорее, заварите нового чаю! – Марья Александровна была даже в маленьком волнении.

– Анна Николаевна уже присылала наведаться. Ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. То-то злится теперь! – возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару.

– А мне какое дело! – сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой. – Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна? Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны, да и не вы одна, а все в городе? Я на вас пошлюсь, Павел Александрович! Вы знаете нас обеих, – ну из чего я буду врагом ее? За первенство? Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет первая! Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с первенством. И наконец – все это несправедливо. Я заступлюсь за нее, я обязана за нее заступиться! На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? она молода и любит наряды, – за это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая – такое любит, что и сказать

нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, – соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно полькирует? На ней невозможные наколки и шляпки, – но чем же виновата она, что ей бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, – но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов со своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, боже мой! еще бы муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это еще, *может быть,* и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее!.. Но боже мой! вот и князь! Это он, он! Я узнаю его! Я узнаю его из тысячи! Наконец-то я вас вижу, mon prince![8] – вскричала Марья Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю.

---

[8] князь (франц.)

Глава IV

С первого, беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика и, только взглянув поближе и попристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтоб закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительные парик, бакенбарды, усы и эспаньолка, превосходнейшего черного цвета закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись? – неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее – все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова, – может быть, от старческой немощи, может быть, оттого, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву *э*. *Да* у него как-то выходит *ддэ,* но только еще немного послаще. Во всех манерах его что-то

небрежное, заученное в продолжение всей франтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней, франтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы! не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже уменье, чтоб с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и, при виде князя, приходит в неизреченный восторг.

– Но вы ничего, ничего не переменились! – восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло. – Садитесь, садитесь, князь! Шесть лет, целых шесть лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во все это время! О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, mon cher prince![9] Но – чаю, чаю! Ах, боже мой, Настасья Петровна, чаю!

– Благодарю, бла-го-дарю, вин-но-ват! – шепелявит князь (мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но и это делает как будто по моде). – Ви-но-ват! и представьте себе, еще прошлого года непре-менно хотел сюда ехать, – прибавляет он, лорнируя комнату. – Да напугали: тут, говорят, хо-ле-ра была.

---

[9] мой дорогой князь (франц.)

– Нет, князь, у нас не было холеры, – говорит Марья Александровна.

– Здесь был скотский падеж, дядюшка! – вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом.

– Ну да, скотский па-деж или что-то в этом роде… Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Все по своей проку-рорской части?

– Н-нет, князь, – говорит Марья Александровна, немного заикаясь. – Мой муж не про-ку-рор…

– Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову! – вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас спохватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покоробило.

– Ну да, да, Анну Николаевну, и-и… (я все забываю!). Ну да, Антиповну, именно Анти-повну, – подтверждает князь.

– Н-нет, князь, вы очень ошиблись, – говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. – Я вовсе не Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете! Вы меня удивили, князь! Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну?..

– Марью А-лекс-анд-ровну! представьте себе! а я именно по-ла-гал, что вы-то и есть (как ее) – ну да! Анна Васильев-

на… C'est delicieux![10] Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно ве-зешь меня к этой Анне Матвеевне. C'est charmant![11] Впрочем, это со мной часто случается… Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всегда доволен, что б ни случилось. Так вы не Настасья Ва-сильевна? Это инте-ресно…

– Марья Александровна, князь, Марья Александровна! О, как вы виноваты передо мной! Забыть своего лучшего, луч-шего друга!

– Ну да, луч-шего друга… pardon, pardon![12] – шепелявит князь, заглядываясь на Зину.

– А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните, в – м году?

– Это ваша дочь! Charmante, charmante![13] – бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину. – Mais quelle beaute![14] – шепчет он, видимо пораженный.

– Чаю, князь, – говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки.

– А-а-а, это ваш мальчик? – говорит он. – Какой хо-ро-

---

[10] это восхитительно (франц.)

[11] это очаровательно (франц.)

[12] простите, простите! (франц.)

[13] прелестно, прелестно! (франц.)

[14] Но какая красавица! (франц.)

шенький мальчик!.. и-и-и, верно, хо-ро-шо… ведет себя?

– Но, князь, – поспешно перебивает Марья Александровна, – я слышала об ужаснейшем происшествии! Признаюсь, я была вне себя от испуга… Не ушиблись ли вы? Смотрите! Этим пренебрегать невозможно…

– Вывалил! Вывалил! Кучер вывалил! – восклицает князь с необыкновенным одушевлением. – Я уже думал, что наступает светопреставление или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что – прости меня, угодник! – небо с овчинку показалось! Не ожидал, не ожи-дал! совсем не о-жи-дал! И во всем этом мой кучер Фе-о-фил виноват! Я уж на тебя во всем надеюсь, мой друг: распорядись и разыщи хорошенько. Я у-ве-рен, что он на жизнь мою по-ку-шался.

– Хорошо, хорошо, дядюшка! – отвечает Павел Александрович. – Все разыщу! Только послушайте, дядюшка! Простите-ка его, для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете?

– Ни за что не прощу! Я уверен, что он на жизнь мою поку-шался! Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите: нахватался, знаете, каких-то новых идей! Отрицание какое-то в нем явилось… Одним словом: коммунист, в полном смысле слова! Я уж и встречаться с ним боюсь!

– Ах, какую вы правду сказали, князь, – восклицает Марья Александровна. – Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек! Вообразите: я теперь переменила двух из моих людей, и признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они

глупы, князь!

– Ну да, ну да! Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп, – замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. – К лакею это как-то идет, – и даже составляет его достоин-ство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только слу-ча-ях. Са-но-ви-тости в нем оттого как-то больше, тор-жественность какая-то в лице у него является; одним словом, благовоспитанности больше, а я прежде всего требую от *человека* бла-го-воспитан-ности. Вот у меня Те-рен-тий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Те-рен-тия? Я, как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза: быть тебе в швейцарах! Глуп фе-но-менально! смотрит, как баран на воду! Но какая са-но-витость, какая торжественность! Кадык такой, светло-розовый! Ну, а – ведь это в белом галстухе и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссертацию сочиняет, – такой важный вид! одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный comme il faut для служащего человека!..

Марья Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца: его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина.

– Но сколько юмору, сколько веселости, сколько в вас остроумия, князь! – восклицает Марья Александровна. – Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту!.. И исчезнуть из общества, запереться на целых пять лет! С таким талантом! Но вы бы могли писать, князь! Вы бы могли повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!..

– Ну да, ну да! – говорит вседовольный князь, – я могу пов-то-рить… и, знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены во-де-виль написал… Там было несколько вос-хи-ти-тельных куплетов! Впрочем, его никогда не играли…

– Ах, как бы это мило было прочесть! И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати! У нас же сбираются составить театр, – для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых… вот бы ваш водевиль!

– Конечно! Я даже опять готов написать… впрочем, я его совершенно за-был. Но, помню, там было два-три каламбура таких, что (и князь поцеловал свою ручку)… И вообще, когда я был за гра-ни-цей, я производил настоящий fu-ro-re.[15] Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской но-ге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе.

– Лорд Байрон, дядюшка! помилуйте, дядюшка, что вы?

– Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно, не лорд Байрон,

---

[15] фурор (итал.)

а один поляк! Я теперь совершенно припоминаю. И пре-ори-ги-нальный был этот по-ляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер. Но только вос-хи-ти-тельно танцевал краковяк и, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил:

Наш поляк
Танцевал краковяк…

А там… а там, вот уж дальше и не припомню…

А как ногу сломал,
Танцевать перестал.

– Ну, уж верно, так, дядюшка? – восклицает Мозгляков, все более и более приходя в вдохновенье.

– Кажется, что так, друг мой, – отвечает дядюшка, – или что-нибудь по-добное. Впрочем, может быть, и не так, но только преудачные вышли стишки… Вообще я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий.

– Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались в вашем уединении? – интересуется Марья Александровна. – Я так часто думала о вас, mon cher prince, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее…

– Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много за-ня-тий. Когда – отдыхаешь; а иногда, знаете, хожу, воображаю раз-ные вещи…

– У вас, должно быть, чрезвычайно сильное воображение, дядюшка?

– Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом у-див-ляюсь. Когда я был в Кадуеве… A propos![16] ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был?

– Я, дядюшка? Помилуйте, что вы! – восклицает Павел Александрович.

– Представь себе, мой друг! а я тебя все принимал за вице-губернатора, да и думаю: что это у него как будто бы вдруг стало совсем другое ли-цо?.. У того, знаешь, было лицо такое о-са-нистое, умное. Не-о-бык-новенно умный был человек и все стихи со-чи-нял на разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубнового короля был похож…

– Нет, князь, – перебивает Марья Александровна, – клянусь, вы погубите себя такой жизнию! Затвориться на пять лет в уединение, никого не видать, ничего не слыхать! Но вы погибший человек, князь! Кого хотите спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы – погибший человек!

– Неужели? – восклицает князь.

– Уверяю вас; я говорю вам как друг, как сестра ваша! Я говорю вам потому, что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна! Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу

---

[16] Кстати! (франц.)

жизнь, – иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете…

– Ах, боже мой! Неужели так скоро умру! – восклицает испуганный князь. – И представьте себе, вы угадали: меня чрезвычайно мучит геморрой, особенно с некоторого времени… И когда у меня бывают припадки, то вообще у-ди-вительные при этом симптомы… (я вам подробнейшим образом их опишу). Во-первых…

– Дядюшка, это вы в другой раз расскажете, – подхватывает Павел Александрович, – а теперь… не пора ли нам ехать?

– Ну да! пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать. Я теперь соображаю… Но все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды… Напомни мне, мой друг, я тебе ужо вечером расскажу один случай в под-роб-ности…

– Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей, – перебивает еще раз Марья Александровна.

– За границей! Ну да, ну да! Я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в двадцатых годах, там было у-ди-ви-тельно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе, француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой и восторжествовал, один немецкий барон; он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел.

– Но, cher prince, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики… и,

сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни! Вам решительно надо бросить, хоть на время, ваше Духаново.

– Неп-ре-менно! Я уже давно решился и, знаете, намерен лечиться гид-ро-па-тией.

– Гидропатией?

– Гидропатией. Я уже лечился раз гид-ро-па-тией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня, я уж фамилью забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина, лет семидесяти была. При ней еще находилась дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вышел: свою дворовую девку, осердясь, убила и за то под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен; ну, пристали ко мне: «Лечись да лечись!» Я, из деликатности, и начал пить воду; думаю: и в самом деле легче сде-лается. Пил-пил, пил-пил, выпил целый водопад, и, знаете, эта гидропатия полезная вещь и ужасно много пользы мне принесла, так что если б я наконец не забо-лел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров…

– Вот это совершенно справедливое заключенье, дядюшка! Скажите, дядюшка, вы учились логике?

– Боже мой! какие вы вопросы задаете! – строго замечает скандализированная Марья Александровна.

– Учился, друг мой, но только очень давно. Я и философии обучался в Германии, весь курс прошел, но только тогда же все совершенно забыл. Но… признаюсь вам… вы ме-

ня так испугали этими болезнями, что я… весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь…

– Но куда же вы, князь? – вскрикивает удивленная Марья Александровна.

– Я сейчас, сейчас… Я только записать одну новую мысль… au revoir…[17]

– Каков? – вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом.

Марья Александровна теряет терпенье.

– Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы смеетесь! – начинает она с горячностию. – Смеяться над почтенным старичком, над родственником, подымать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою! Я краснела за вас, Павел Александрович! Но, скажите, чем он смешон, по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного.

– Что он не узнает людей, что он иногда заговаривается?

– Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал; вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать, вопиет! Его, решительно, надо спасти! Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он, может быть, бросит эту… торговку!

– Знаете ли что? его надо женить, Марья Александровна! – восклицает Павел Александрович.

---

[17] до свидания (франц.)

– Опять! Но вы неисправимы после этого, мсье Мозгляков!

– Нет, Марья Александровна, нет! В этот раз я говорю совершенно серьезно! Почему ж не женить? Это тоже идея! C'est une idée comme une autre![18] Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его! По закону, он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи (извините за выражение). Во-вторых, и главное, представьте себе, что он выберет девушку или, еще лучше, вдову, милую, добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним, как дочь, и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав своею женою. А что же ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой… бабы? Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну?

– Да где же вы найдете такую невесту? – спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая.

– Вот так сказали; да хоть бы вы, если только угодно! Позвольте спросить: чем вы не невеста князю? Во-первых – вы хорошенькая, во-вторых – вдова, в третьих – благородная, в-четвертых – бедная (потому что вы действительно небогатая), в-пятых – вы очень благоразумная дама, следственно,

---

[18] Мысль не хуже всякой другой! (франц.)

будете любить его, держать его в хлопочках, прогоните ту барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфектами, все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть, и через два месяца с половиною. Тогда вы – княгиня, вдова, богачка и, в награду за вашу решимость, выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта! C'est li,[19] не правда ли?

– Фу ты, боже мой! да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчика, из одной благодарности, если б он только сделал мне предложение! – восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. – Только все это – вздор!

– Вздор? хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько и потом палец мне отрежьте, если же сегодня же не будете его невестою! Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку! Он на все говорит: «Ну да, ну да!» – сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим; да ведь для его же пользы, помилосердуйте!.. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна!

Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как ни рассудительна она, потекли, однако же, слюнки.

– Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем замарашка, – отвечает она. – Совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и

---

[19] блестяще (франц.)

выехала такая мадам Грибусье… А что, в самом деле, я кухаркой кажусь?

Все это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миною в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев… Наконец она опомнилась.

– Все это, положим, очень хорошо, но все это вздор и нелепость, а главное, совершенно некстати, – резко прерывает она Мозглякова.

– Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему же это вздор и некстати?

– По многим причинам, а главное, потому, что вы у меня в доме, что князь – мой гость и что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе как за шутку, Павел Александрович. Но слава богу! вот и князь!

– Вот и я! – кричит князь, входя в комнату. – Удивительно, cher ami,[20] сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты и не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сижу целый день.

– Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот…

– Я и сам, мой друг, этому же приписываю и нахожу этот случай даже по-лез-ным; так что я решился простить моего

---

[20] дорогой друг (франц.)

Фео-фи-ла. Знаешь что? мне кажется, он не покушался на мою жизнь; ты думаешь? Притом же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили.

– Бороду сбрили, дядюшка! Но у него борода с немецкое государство?

– Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих за-клю-че-ниях. Но это искусственная. И представьте себе, какой случай: вдруг присылают мне прейс-курант. Получены вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и господские бо-ро-ды, равномерно бакенбарды, эспаньолки, усы и прочее, и все это лучшего ка-чес-тва и по самым умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бо-ро-ду, хоть поглядеть, – что такое? Вот и выписал я бороду кучерскую, – действительно, борода заглядение! Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную? Я думал-думал и решил, что уж лучше носить искусственную.

– Вероятно, потому, что искусство выше натуры, дядюшка!

– Именно потому. И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду сбрили! Как будто со всей своей карьерой, с бородой расставался… Но не пора ли нам ехать, мой милый?

– Я готов, дядюшка.

– Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернато-

ру! – в волнении восклицает Марья Александровна. – Вы теперь *мой,* князь, и принадлежите моему семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разочаровывать: к тому же я вполне уверена, что время покажет свое. Но помните одно, что я ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька на весь этот день, и, признаюсь, я трепещу за вас, князь! Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по крайней мере, до времени!..

– Положитесь на меня, Марья Александровна. Все, как я вам обещал, так будет, – говорит Мозгляков.

– Уж вы, ветреник! положись на вас! Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне! как бы рад он был вас увидеть! Он так вас уважает, так душевно вас любит!

– Ваш муж? А у вас есть и муж? – спрашивает князь.

– Ах, боже мой! как вы забывчивы, князь! Но вы совершенно, совершенно забыли все прежнее! Мой муж, Афанасий Матвеич, неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь: Афанасий Матвеич?..

– Афанасий Матвеич! в деревне, представьте себе, mais c'est delicieux![21] Так у вас есть и муж? Какой странный, однако же, случай! Это точь-в-точь как есть один водевиль: муж в дверь, а жена в … позвольте, вот и забыл! только куда-то и

---

[21] но это же восхитительно! (франц.)

жена тоже поехала, кажется в Тулу или в Ярославль, одним словом, выходит как-то очень смешно.

– Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка, – подсказывает Мозгляков.

– Ну-ну! да-да! благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь, charmant, charmant! так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый! То-то я помню: в Ярославль или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала! Charmant, charmant! Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить… да! итак, мы едем, друг мой. Au revoir, madame, adieu, ma charmante demoiselle,[22] – прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев.

– Обедать, обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! – кричит вслед Марья Александровна.

---

[22] До свидания, мадам, прощайте, милая барышня (франц.)

Глава V

– Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухне, – говорит она, проводив князя. – У меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед! Я уверена, что он уже пьян…

Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно взглядывает на Марью Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того чтоб идти присмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку, вроде чуланчика, где стоят сундуки, развешана кой-какая одежда и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает свое дыхание, нагибается, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь – одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька, – всегда наглухо заперта и заколочена.

Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоящую минуту госпожа Москалева так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресло и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на

себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце.

– Зина!

Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и подымает свои черные задумчивые глаза.

– Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.

Зина оборачивается совершенно к своей маменьке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее досада и насмешка, что, впрочем, она старается скрыть.

– Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе, сегодня, *этот* Мозгляков?

– Вы уже давно знаете, как я о нем думаю, – нехотя отвечает Зина.

– Да, mon enfant;[23] но мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым с своими… исканиями.

– Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна.

– Странно! Ты прежде не извиняла его так… охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю об нем.

– Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтоб я вышла за него замуж, а теперь первая на него нападаете.

– Почти. Я не запираюсь, Зина: я желала тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную

---

[23] дитя мое (франц.)

тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять (что бы ты ни думала обо мне!) и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась, наконец, что одна только значительная перемена в твоей жизни может спасти тебя! И перемена эта должна быть – замужество. Мы небогаты и не можем ехать, например, за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе двадцать три года и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели ж я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича, нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но он все-таки лучше их всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть полтораста душ; это все-таки лучше, чем жить крючками да взятками да бог знает какими приключениями; потому я и бросила на него мои взгляды. Но, клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам всевышний предупреждал меня. И если бы бог послал, хоть теперь, что-нибудь лучше – о! как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова! ты ведь сегодня ничего не сказала ему наверное, Зина?

– К чему так кривляться, маменька, когда все дело в двух словах? – раздражительно проговорила Зина.

– Кривляться, Зина, кривляться! и ты могла сказать такое слово матери? Но что я! Ты давно уже не веришь своей матери! Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью.

– Э, полноте, маменька! Нам ли с вами за слово спорить! Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время по-

нять!

– Но ты оскорбляешь меня, дитя мое! Ты не веришь, что я готова решительно на все, чтоб устроить судьбу твою!

Зина взглянула на мать насмешливо и с досадою.

– Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтоб *устроить* судьбу мою? – спросила она с странной улыбкой.

– Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу, что если б случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием…

– А я нахожу, что это просто вздор! – запальчиво воскликнула Зина. – Вздор! вздор! Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений, вы женщина-поэт, в полном смысле этого слова; вас здесь и называют так. У вас беспрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился Мозгляков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни слова, слышите ли, маменька, – ни слова, и я бы желала, чтоб вы это запомнили! – Она задыхалась от гнева.

– Ты дитя, Зина, – раздраженное, больное дитя! – отвечала Марья Александровна растроганным, слезящимся го-

лосом. – Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина: если б я и действительно мечтала об этом союзе, – почему именно ты считаешь все это вздором? По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходима женитьба, конечно, не на этой чумичке Настасье. Тут уж он заврался.

– Послушайте, маменька! скажите прямо: вы это спрашиваете только так, из любопытства, или с намерением?

– Я спрашиваю только: почему это кажется тебе таким вздором?

– Ах, досада! ведь достанется же такая судьба! – восклицает Зина, топнув ногою от нетерпения. – Вот почему, если это вам до сих пор неизвестно: не говоря уже о всех других нелепостях, – воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтоб вытащить у него его деньги и потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но сверх того, так низко, так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька!

С минуту продолжалось молчание.

– Зина! А помнишь ли, что было два года назад? – спросила вдруг Марья Александровна.

Зина вздрогнула.

– Маменька! – сказала она строгим голосом, – вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом.

– А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтоб ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала. Зина! пришло время полного объяснения между нами. Эти два года молчания были ужасны! Так не может продолжаться!.. Я готова на коленях молить тебя, чтоб ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина: родная мать умоляет тебя на коленях! Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое – слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, даже если б шло о спасении жизни моей, я уже не буду более говорить об этом. Это будет в последний раз, но теперь – это необходимо!

Марья Александровна рассчитывала на полный эффект.

– Говорите, – сказала Зина, заметно бледнея.

– Благодарю тебя, Зина. Два года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель.

– Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька! К чему все это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны, которые тяжелы и которые нам обеим слишком известны? – с каким-то злобным отвращением прервала ее Зина.

– К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобою! К тому, что я хочу представить

тебе это же все дело совершенно с другой точки зрения, а не с той, ошибочной, точки, с которой ты привыкла смотреть на него. К тому, наконец, чтоб ты лучше поняла заключение, которое я намерена из всего этого вывесть. Не думай, дитя мое, что я хочу играть твоим сердцем! Нет, Зина, ты найдешь во мне настоящую мать и, может быть, обливаясь слезами, у ног моих, у ног *низкой женщины,* как ты сейчас назвала меня, сама будешь просить примирения, которое ты так долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать все, Зина, все с самого начала; иначе я молчу!

– Говорите, – повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки.

– Я продолжаю, Зина: этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на твое благоразумие, на твою благородную гордость и, главное, на его ничтожество (потому что надо же все говорить), чтобы хоть что-нибудь подозревать между вами. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж! Зина! Это был кинжал в мое сердце! Я вскрикнула и лишилась чувств. Но… ты все это помнишь! Разумеется, я сочла за нужное употребить всю свою власть, которую ты называла тиранством. Подумай: мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалованья, кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий только толковать об

этом проклятом Шекспире, – этот мальчик – твой муж, муж Зинаиды Москалевой! Но это достойно Флориана и его пастушков! Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя! Я отказала ему, но никакая власть не может остановить тебя. Твой отец, разумеется, только хлопал глазами и даже не понял, что я начала ему объяснять. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношения, даже свидания, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают уже распространяться слухи. Меня начинают колоть намеками; уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь; он оказывается самым недостойным тебя… мальчишкой (я никак не могу назвать его человеком!) и грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полная негодования, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да, Зина, мне известно и это обстоятельство! Мне все, все известно! Несчастный, в тот же день, показывает одно из твоих писем негодяю Заушину, и через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший, в раскаянии, делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший! Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная, с страшным известием: уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны; через два часа весь город будет знать о твоем позоре! Я пересилила себя, я не упала

в обморок, – но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина. Эта бесстыдная, этот изверг Настасья требует двести рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. Я сама, в легких башмаках, по снегу, бегу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар – память праведницы, моей матери! Через два часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку, и – честь твоя спасена, – доказательств нет! Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот ужасный день! На другой же день я заметила, в первый раз в жизни, несколько седых волос на голове моей. Зина! ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься, и, может быть, с горькою улыбкою, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься, ты мучишься, дитя мое; ты не можешь забыть его или, лучше сказать, не его, – он всегда был недостоин тебя, – а призрак своего прошедшего счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре; говорят, он в чахотке, а ты, – ангел доброты! – ты не хочешь при жизни его выходить замуж, чтоб не растерзать его сердца, потому что он до сих пор еще мучится ревностию, хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом! Я знаю, что, услышав про искания Мозглякова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его, дитя мое, я угадала тебя, и, бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою!..

– Да оставьте все это, маменька! – прерывает Зина в невы-

разимой тоске. – Очень понадобилась тут ваша подушка, – прибавляет она с колкостию. – Нельзя без декламаций да вывертов!

– Ты не веришь мне, Зина! Не смотри на меня враждебно, дитя мое! Я не осушала глаз эти два года, но скрывала от тебя мои слезы, и, клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время! Я давно поняла твои чувства и, каюсь, только теперь узнала всю силу твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что я смотрела на эту привязанность как на романтизм, навеянный этим проклятым Шекспиром, который как нарочно сует свой нос везде, где его не спрашивают. Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь, теперь, видя твои двухлетние страдания, я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может быть, гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила, и, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала; у меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому кто может обвинить меня теперь, и прежде всего можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоем положении?

Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменька никогда не впадет в такой

тон без причины. Но последнее, неожиданное заключение совершенно изумило ее.

– Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя? – вскричала она, с изумлением, чуть не с испугом смотря на мать свою. – Стало быть, это уже не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение? Стало быть, я угадала? И… и… каким образом это замужество спасет меня и необходимо в настоящем моем положении? И… и… каким образом все это вяжется с тем, что вы теперь наговорили, – со всей этой историей?.. Я решительно не понимаю вас, маменька!

– А я удивляюсь, mon ange,[24] как можно не понимать всего этого! – восклицает Марья Александровна, одушевляясь в свою очередь. – Во-первых, – уж одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир! Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишка, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты можешь даже ехать этой же весной за границу, в Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная речонка с неприличным названием…

– Но, позвольте, маменька, вы говорите так, как будто я уже замужем или по крайней мере князь сделал мне предложение?

---

[24] мой ангел (франц.)

– Не беспокойся об этом, мой ангел, я знаю, что я говорю. Но – позволь мне продолжать. Я уже сказала *первое,* теперь *второе:* я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому Мозглякову…

– Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женою! – отвечала с горячностию Зина, и глаза ее засверкали.

– И если б ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой! Ужасно поклясться перед алтарем божиим в любви к тому, кого не можешь любить! Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь! А он потребует твоей любви; он для того и женится, я это знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься. Каково ж притворяться! Я сама двадцать пять лет это испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно сказать, высосал всю мою молодость, и сколько раз ты видела слезы мои!..

– Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста, – отвечала Зина.

– Знаю, ты всегдашняя его заступница. Ах, Зина! У меня все сердце замирало, когда я, из расчета, желала твоего брака с Мозгляковым. А с князем тебе притворяться нечего. Само собою разумеется, что ты не можешь его любить… любовью, да и он сам *не способен* потребовать такой любви…

– Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном! Знайте, что я не хочу собою жертвовать неизвестно для чего! Знайте, что я вовсе не хочу замуж, ни за кого, и останусь в девках! Вы два

года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж? придется с этим вам примириться. Не хочу, да и только! Так и будет!

– Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради бога, не выслушав! И что у тебя за головка горячая, право! Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти его, – княгиня, свободна, богата, независима! Друг мой, ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты, – расчеты на смерть его! Но – я мать, а какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что не хочешь даже выйти замуж при его жизни (как я догадываюсь), то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться! Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность к князю неуместна, смешна; поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он поймет… то есть я просто хочу сказать, что, по смерти князя, ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь…

– Попросту выходит: выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтоб выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги! Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне… Я понимаю вас, маменька,

вполне понимаю! Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств, даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: «Зина, это подлость, но она выгодна, и потому согласись на нее!» Это по крайней мере было бы откровеннее.

– Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения, – с точки зрения обмана, коварства, корыстолюбия? Ты считаешь мои расчеты за низость, за обман? Но, ради всего святого, где же тут обман, какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало: ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство! И вдруг ты, – ты, красавица, жертвуешь старику свои лучшие годы! Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешся около его старости, ты, а не эта крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностию сосет его соки! Неужели ж его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина!

– Верно, стоят, коли надо выходить за калеку! Обман – всегда обман, маменька, какие бы ни были цели.

– Напротив, друг мой, напротив! на это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое! Ты сама однажды, в каком-то исступлении, сказала мне, что хочешь быть сестрою милосердия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила (я знаю это), что оно уже не может любить. Если ты не веришь в любовь, то обрати свои

чувства на другой, более возвышенный предмет, обрати искренно, как дитя, со всею верою и святостию, – и бог благословит тебя. Этот старик тоже страдал, он несчастен, его гонят; я уже несколько лет его знаю и всегда питала к нему непонятную симпатию, род любви, как будто что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, – если уж все говорить! – но согрей его сердце, и ты сделаешь это для бога, для добродетели! Он смешон, – не смотри на это. Он получеловек, – пожалей его; ты христианка! Принудь себя; такие подвиги нудятся. На наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице; отвратительно дышать зараженным лазаретным воздухом. Но есть ангелы божии, исполняющие это и благословляющие бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорбленному сердцу, занятие, подвиг – и ты залечишь раны свои. Где же тут эгоизм, где тут подлость? Но ты мне не веришь! Ты, может быть, думаешь, что я притворяюсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять, как я, женщина светская, суетная, могу иметь сердце, чувства, правила? Что ж? не верь, оскорбляй свою мать, но согласись, что слова ее разумны, спасительны. Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой; закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой-нибудь невидимый голос… Тебя, главное, смущает, что все это будет за деньги, как будто это какая-нибудь продажа или купля? Так откажись, наконец, от денег, если деньги так для тебя ненавистны! Оставь себе необходимое и все

раздай бедным. Помоги хоть, например, ему, этому несчастному, на смертном одре.

– Он не примет никакой помощи, – проговорила Зина тихо, как бы про себя.

– Он не примет, но мать его примет, – отвечала торжествующая Марья Александровна, – она примет тихонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин подарок, и помогла ей полгода назад; я это знаю. Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтоб кормить своего несчастного сына.

– Ему скоро не нужна будет помощь!

– Знаю и это, на что ты намекаешь, – подхватила Марья Александровна, и вдохновение, настоящее вдохновение осенило ее, – знаю, про что ты говоришь. Говорят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Каллиста Станиславича; я интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Каллист Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а так только, довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он наверное говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, – и это я еще прежде слышала, даже читала, – что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется Малага, – одним словом, похоже на какое-то вино, – где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного кли-

мата, и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах! – одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег, для этого путешествия? Так обмани его, если тебе жаль! Обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою; скажи, что выйдешь за него замуж, когда овдовеешь. Все на свете можно сказать благородным образом. Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь это для спасения жизни его, и потому – все позволительно! Ты воскресишь его надеждою; он сам начнет обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, – все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила его! Наконец, можно и на него взглянуть с состраданием! Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему, и, если только он будет достоин тебя, – пожалуй, и выйди за него, когда овдовеешь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его, доставить ему положение в свете, карьеру. Брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Что ожидает вас обоих, если б вы теперь решились на такое безумство? Всеобщее презрение, нищета, дранье за уши мальчишек, по-

тому что это сопряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мордасове и, наконец, его близкая, неминуемая смерть. Тогда как воскресив его, – ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетели; простив ему, – ты заставишь его обожать себя. Он терзается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и примиришь его с самим собою. Он может вступить в службу, войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет, то умрет счастливый, примиренный с собою, на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти минуты, уверенный в любви твоей, прощенный тобою, под сенью мирт, лимонов, под лазуревым, экзотическим небом! О Зина! все это в руках твоих! Все выгоды на твоей стороне – и все это чрез замужество с князем.

Марья Александровна кончила. Наступило довольно долгое молчание. Зина была в невыразимом волнении.

Мы не беремся описывать чувства Зины; мы не можем их угадать. Но, кажется, Марья Александровна нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком состоянии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и наконец, догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрогивалась до самых больных мест сердца Зины и, разумеется, по привычке, не могла обойтиться без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили Зину. «Но что за нужда, что она мне не

верит, – думала Марья Александровна, – только бы ее заставить задуматься! только бы ловчее намекнуть, о чем мне прямо нельзя говорить!» Так она думала и достигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слушала. Щеки ее горели, грудь волновалась.

– Послушайте, маменька, – сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в лице ее показывала ясно, чего стоила ей эта решимость. – Послушайте, маменька…

Но в это мгновение внезапный шум, раздавшийся из передней, и резкий, крикливый голос, спрашивающий Марью Александровну, заставил Зину вдруг остановиться. Марья Александровна вскочила с места.

– Ах, боже мой! – вскричала она, – черт несет эту сороку, полковницу! Да ведь я ж ее почти выгнала две недели назад! – прибавила она чуть не в отчаянии. – Но… но невозможно теперь не принять ее! Невозможно! Она, наверно, с вестями, иначе не посмела бы и явиться. Это важно, Зина! Мне надо знать… Ничем теперь не надо пренебрегать! Но как я вам благодарна за ваш визит! – закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гостье. – Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой о-чаро-ва-тельный сюрприз!

Зина убежала из комнаты.

Глава VI

Полковница, Софья Петровна Фарпухина, только нравственно походила на сороку. Физически она скорее походила на воробья. Это была маленькая пятидесятилетняя дама, с остренькими глазками, в веснушках и в желтых пятнах по всему лицу. На маленьком, иссохшем тельце ее, помещенном на тоненьких крепких воробьиных ножках, было шелковое темное платье, всегда шумевшее, потому что полковница двух секунд не могла пробыть в покое. Это была зловещая и мстительная сплетница. Она была помешана на том, что она полковница. С отставным полковником, своим мужем, она очень часто дралась и царапала ему лицо. Сверх того, выпивала по четыре рюмки водки утром и по стольку же вечером и до помешательства ненавидела Анну Николаевну Антипову, прогнавшую ее на прошлой неделе из своего дома, равно как и Наталью Дмитриевну Паскудину, тому способствовавшую.

– Я к вам только на минутку, mon ange, – защебетала она. – Я ведь напрасно и села. Я заехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума сошел от этого князя! Наши пройдохи – vous comprenez![25] – его ловят, ищут, тащат его нарасхват, шампанским поят, – вы не пове-

[25] понимаете (франц.)

рите! не поверите! Да как это вы решились его отпустить от себя? Знаете ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны?

– У Натальи Дмитриевны! – вскричала Марья Александровна, привскакнув на месте. – Да ведь он к губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне Николаевне, и то ненадолго!

– Ну да, ненадолго; вот и ловите его теперь! Он губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне поехал, дал слово обедать у ней, а Наташка, которая теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда завтракать. Вот вам и князь!

– А что ж… Мозгляков? Ведь он обещался…

– Дался вам этот Мозгляков! хваленый-то ваш… Да и он с ними туда же! Посмотрите, если его в картишки там не засадят, – опять проиграется, как прошлый год проигрался! Да и князя тоже засадят; облупят как липку. А какие она вещи про вас распускает, Наташка-то! Вслух кричит, что вы завлекаете князя, ну там… для известных целей, – vous comprenez?[26] Сама ему толкует об этом. Он, конечно ничего не понимает, сидит, как мокрый кот, да на всякое слово: «Ну да! Ну да!» А сама-то, сама-то! вывела свою Соньку – вообразите: пятнадцать лет, а все еще в коротеньком платье водит! все это только до колен, как можете себе представить… Послали за этой сироткой Машкой, та тоже в коротеньком платье, только еще выше колен, – я в лорнет смотрела… На

[26] Вы понимаете (франц.)

голову им надели какие-то красные шапочки с перьями, – уж не знаю, что это изображает! – и под фортепьяно заставила обеих пигалиц перед князем плясать казачка! Ну, вы знаете слабость этого князя? Он так и растаял: «формы», говорит, «формы!» В лорнетку на них смотрит, а они-то отличаются, две сороки! раскраснелись, ноги вывертывают, такой монплезир пошел, что люли, да и только! тьфу! Это – танец! Я сама танцевала с шалью, при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни, – так я благородный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! Там княжеские и графские дочери воспитывались! А ведь это просто канкан! Я сгорела со стыда, сгорела, сгорела! Я просто не высидела!..

– Но… разве вы сами были у Натальи Дмитриевны? ведь вы…

– Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе. Я это прямо всем говорю. Mais, ma chere,[27] мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, я и приехала. А то где ж бы я его увидала? Поехала бы я к ней, кабы не этот скверный князишка! Представьте себе: всем шоколад подают, а мне нет, и все время со мной хоть бы слово. Ведь это она нарочно… Кадушка этакая! Вот я ж ей теперь! Но прощайте, mon ange, я теперь спешу, спешу… Мне надо непременно застать Акулину Панфиловну и ей рассказать… Только вы теперь так и проститесь с князем! Он уж у вас больше не будет. Знаете – памяти-то у него нет, так Анна Николаевна

[27] но, милая моя (франц.)

непременно к себе его перетащит! Они все боятся, чтобы вы не того… понимаете? насчет Зины…

– Quelle horreur![28]

– Уж это я вам говорю! Весь город об этом кричит. Анна Николаевна непременно хочет оставить его обедать, а потом и совсем. Это она вам в пику делает, mon ange. Я к ней на двор в щелочку заглянула. Такая там суетня: обед готовят, ножами стучат… за шампанским послали. Спешите, спешите и перехватите его на дороге, когда он к ней поедет. Ведь он к вам первой обещался обедать! Он ваш гость, а не ее! Чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, эта сопля! Да она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша! Я сама полковница! Я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась… тьфу! Mais adieu, mon ange![29] У меня свои сани, а то бы я с вами вместе поехала…

Ходячая газета исчезла, Марья Александровна затрепетала от волнения, но совет полковницы был чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было нечего, да и некогда. Но оставалось еще самое главное затруднение. Марья Александровна бросилась в комнату Зины.

Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная. В глазах ее стояли слезы; но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слезы, и саркасти-

---

[28] Какой ужас! (франц.)

[29] Но прощайте, мой ангел! (франц.)

ческая улыбка появилась на губах ее.

– Маменька, – сказала она, предупреждая Марью Александровну, – сейчас вы истратили со мною много вашего красноречия, слишком много. Но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма, благородными целями – все это такое иезуитство, которое не могло обмануть меня. Слышите: это не могло меня обмануть, и я хочу, чтоб вы это непременно знали!

– Но, mon ange!..[30] – вскрикнула оробевшая Марья Александровна.

– Молчите, маменька! Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное сознание того, что все это только одно иезуитство; несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, – я принимаю ваше предложение вполне, слышите: *вполне,* и объявляю вам, что готова выйти за князя и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтобы заставить его на мне жениться. Для чего я это делаю? – вам не надо знать. Довольно и того, что я решилась. Я решилась на все: я буду подавать ему сапоги, я буду его служанкой, я буду плясать для его удовольствия, чтоб загладить перед ним мою низость; я употреблю все на свете, чтоб он не раскаивался в том, что женился на мне! Но, взамен моего решения, я требую, чтоб вы откровенно сказа-

---

[30] мой ангел (франц.)

ли мне: каким образом вы все это устроите? Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то – я вас знаю – вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определенного плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни; откровенность – непременное условие! Я не могу решиться, не зная положительно, как вы все это сделаете?

Марья Александровна была так озадачена неожиданным заключением Зины, что некоторое время стояла перед ней, немая и неподвижная от изумления, и глядела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства которой она постоянно боялась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на все, даже вопреки своим убеждениям! Следственно, дело принимало необыкновенную прочность, – и радость засверкала в глазах ее.

– Зиночка! – воскликнула она в увлечении, – Зиночка! ты плоть и кровь моя!

Больше она ничего не могла выговорить и бросилась обнимать свою дочь.

– Ах, боже мой! я не прошу ваших объятий, маменька, – вскричала Зина с нетерпеливым отвращением, – мне не надо ваших восторгов! я требую от вас ответа на мой вопрос и больше ничего.

– Но, Зина, ведь я люблю тебя! Я обожаю тебя, а ты меня отталкиваешь… ведь я для твоего же счастья стараюсь…

И непритворные слезы заблистали в глазах ее. Марья

Александровна действительно любила Зину, *по-своему,* а в этот раз, от удачи и от волнения, чрезвычайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, понимала, что мать ее любит, – и тяготилась этой любовью. Ей даже было бы легче, если б мать ее ненавидела…

– Ну, не сердитесь, маменька, я в таком волнении, – сказала она, чтоб успокоить ее.

– Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик! – защебетала Марья Александровна, мигом оживляясь. – Ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь, друг мой, ты требуешь откровенности… Изволь, я буду откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя! Только бы ты-то мне верила. И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет, Зиночка, да и не может быть; ты, как умная головка, поймешь – почему. Я даже предвижу некоторые затруднения… Вот и сейчас эта сорока натрещала мне всякой всячины… (Ах, боже мой! Спешить бы надо!) Видишь, я вполне откровенна! Но, клянусь тебе, я достигну цели! – прибавила она в восторге. – Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты давеча говорила, мой ангел; она основана на деле. Она основана на совершенном слабоумии князя, – а ведь это такая канва, по которой вышивай что угодно. Главное, чтоб не помешали! Да этим ли дурам перехитрить меня, – вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами, – уж это мое дело! А для этого –

всего нужнее как можно скорей начинать, даже чтоб сегодня и кончить все главное, если только возможно.

– Хорошо, маменька, только выслушайте еще одну… откровенность: знаете ли, почему я так интересуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась на эту низость; но если подробности вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и все брошу. Знаю, что это новая низость: решиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? Это непременно так будет!..

– Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость, mon ange? – робко возразила было Марья Александровна. – Тут только один выгодный брак, а ведь это все делают! Только надобно с этой точки взглянуть, и все очень благородно покажется…

– Ах, маменька, ради бога, не хитрите со мной! Вы видите, я на все, на все согласна! ну чего ж вам еще? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи их именами. Может быть, это теперь единственное мое утешение!

И горькая улыбка показалась на губах ее.

– Ну, ну, хорошо, мой ангельчик, можно быть несогласными в мыслях и все-таки взаимно уважать друг друга. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязны, то предоставь все эти хлопоты мне; клянусь, что на тебя не брызнет ни капельки грязи. Я ли захочу те-

бя компрометировать перед всеми? Положись только на меня, и все превосходно, преблагородно уладится, главное – преблагородно! Скандалу не будет никакого, а если и будет какой-нибудь маленький, необходименький скандальчик, – так… как-нибудь! – так ведь мы уж будем тогда далеко! ведь уж здесь не останемся! Пусть их кричат во все горло, наплевать на них! Сами же будут завидовать. Да и стоит того, чтоб о них заботиться! Я даже удивляюсь тебе, Зиночка (но ты не сердись на меня), – как это ты, с твоей гордостью, их боишься?

– Ах, маменька, я вовсе не их боюсь! вы совершенно меня не понимаете! – отвечала раздражительно Зина.

– Ну, ну, душка, не сердись! Я только к тому, что они сами каждый божий день пакости строят, а тут ты всего-то какой-нибудь один разочек в жизни… да и что я, дура! Вовсе не пакость! Какая тут пакость? Напротив, это даже преблагородно. Я решительно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, все оттого, с какой точки зрения смотреть…

– Да полноте, маменька, с вашими доказательствами! – с гневом вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою.

– Ну, душка, не буду, не буду! я опять завралась…

Наступило маленькое молчание. Марья Александровна смиренно ходила за Зиной и с беспокойством смотрела ей в глаза, как маленькая провинившаяся собачка смотрит в глаза своей барыне.

– Я даже не понимаю, как вы возьметесь за дело, – с от-

вращением продолжала Зина. – Я уверена, что вы наткнетесь на один только стыд. Я презираю их мнение, но для вас это будет позором.

– О, если только это тебя беспокоит, мой ангел, – пожалуйста, не беспокойся! прошу тебя, умоляю тебя! Только бы мы согласились, а обо мне не беспокойся. Ох, если б ты только знала, из каких я передряг суха выходила? Такие ли дела мне случалось обделывать! ну, да позволь хоть только попробовать! Во всяком случае прежде всего нужно как можно скорее быть наедине с князем. Это самое первое! а все остальное будет зависеть от этого! Но уж я предчувствую и остальное. Они все восстанут, но… это ничего! я их сама отделаю! Пугает меня еще Мозгляков…

– Мозгляков? – с презрением проговорила Зина.

– Ну да, Мозгляков; только ты не бойся, Зиночка! клянусь тебе, я его до того доведу, что он же будет нам помогать! Ты еще не знаешь меня, Зиночка! ты еще не знаешь, какая я в деле! Ах! Зиночка, душенька! давеча, как я услышала об этом князе, у меня уж и загорелась мысль в голове! Меня как будто разом всю осветило. И кто ж, и кто ж мог ожидать, что он к нам приедет? Да ведь в тысячу лет не будет такой оказии! Зиночка! ангельчик! Не в том бесчестие, что ты выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а между тем *действительно* будешь женой его! А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это просто домашний контракт!

Ведь ему ж, дураку, будет выгода, – ему ж, дураку, дают такое неоцененное счастье! Ах, какая ты сегодня красавица, Зиночка! раскрасавица, а не красавица! Да я бы, если б была мужчиной, я бы тебе полцарства достала, если б ты захотела! Ослы они все! Ну, как не поцеловать эту ручку? – И Марья Александровна горячо поцеловала руку у дочери. – Ведь это мое тело, моя плоть, моя кровь! да хоть насильно женить его, дурака! А как заживем-то мы с тобой, Зиночка! Ведь ты не разлучишься со мной, Зиночка? Ведь ты не прогонишь свою мать, как в счастье попадешь? Мы хоть и ссорились, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я; все-таки…

– Маменька! если уж вы решились, то, может быть, вам пора… что-нибудь и делать. Вы здесь только время теряете! – в нетерпении сказала Зина.

– Пора, пора, Зиночка, пора! ах! я заболталась! – схватилась Марья Александровна. – Они там хотят совсем сманить князя. Сейчас же сажусь и еду! Подъеду, вызову Мозглякова, а там… Да я его силой увезу, если надо! Прощай, Зиночка, прощай, голубчик, не тужи, не сомневайся, не грусти, главное – не грусти! все прекрасно, преблагородно обделается! Главное, с какой точки смотреть… ну, прощай, прощай!..

Марья Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через две минуты катилась по мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около

этого часу в случае выезда. Марья Александровна жила en grand.[31]

«Нет, не вам перехитрить меня! – думала она, сидя в своей карете. – Зина согласна, значит, половина дела сделана, и тут – оборваться! вздор! Ай да Зина! Согласилась-таки наконец! Значит, и на твою головку действуют иные расчетцы! Перспективу-то я выставила ей заманчивую! Тронула! Но только ужас как она хороша сегодня! Да я бы, с ее красотой, пол-Европы перевернула по-своему! Ну, да подождем… Шекспир-то слетит, когда княгиней сделается да кой с чем познакомится. Что она знает? Мордасов да своего учителя! Гм… Только какая же она будет княгиня! Люблю я в ней эту гордость, смелость, недоступная какая! взглянет – королева взглянула. Ну как, ну как не понимать своей выгоды? Поняла ж наконец! Поймет и остальное… Я ведь все-таки буду при ней! Согласится же наконец со мной во всех пунктах! А без меня не обойдется! Я сама буду княгиня; меня и в Петербурге узнают. Прощай, городишка! Умрет этот князь, умрет этот мальчишка, и тогда я ее за владетельного принца выдам! Одного боюсь: не слишком ли я ей доверилась? Не слишком ли откровенничала, не слишком ли я расчувствовалась? Пугает она меня, ох, пугает!»

И Марья Александровна погрузилась в свои размышления. Нечего сказать: они были хлопотливы. Но ведь говорится же, что охота пуще неволи.

---

[31] на широкую ногу (франц.)

Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперед по комнате, скрестив руки, задумавшись. О многом она передумала. Часто и почти бессознательно повторяла она: «Пора, пора, давно пора!» Что значило это отрывочное восклицание? Не раз слезы блистали на ее длинных шелковистых ресницах. Она не думала отирать их, – останавливать. Но напрасно беспокоилась ее маменька и старалась проникнуть в мысли своей дочери: Зина совершенно решилась и приготовилась ко всем последствиям…

– «Постой же! – думала Настасья Петровна, выбираясь из своего чуланчика по отъезде полковницы. – А я было и бантик розовый хотела приколоть для этого князишки! И поверила же, дура, что он на мне женится! Вот тебе и бантик! А, Марья Александровна! Я у вас чумичка, я нищая, я взятки по двести целковых беру. Еще бы с тебя упустить, не взять, франтиха ты этакая! Я взяла благородным образом; я взяла на сопряженные с делом расходы… Может, мне самой пришлось бы взятку дать! Тебе какое дело, что я не побрезгала, своими руками замок взломала? Для тебя же работала, белоручка ты этакая! Тебе бы только по канве вышивать! Погоди ж, я тебе покажу канву. Я покажу вам обеим, какова я чумичка! Узнаете Настасью Петровну и всю ее кротость!»

Глава VII

Но Марью Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект. Выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марьи Александровны, – было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Марья Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передряг я суха выходила!» – говорила она Зине, и говорила справедливо. Не то какая ж бы она была героиня?

Бесспорно, что все это походило несколько на разбой на большой дороге; но Марья Александровна и на это не слишком-то обращала внимание. На этот счет у ней была одна удивительно верная мысль: «Обвенчают, так уж не развенчаются», – мысль простая, но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марью Александровну, от одного уже представления этих выгод, бросало в дрожь и кололо мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете как на иголках. Как женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий. Но план этот был состав-

лен вчерне, вообще en grand,[32] и еще как-то тускло просвечивал перед нею. Предстояла бездна подробностей и разных непредвидимых случаев. Но Марья Александровна была уверена в себе: она волновалась не страхом неудачи – нет! ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение, благородное нетерпение сожигало ее при мысли о задержках и остановках. Но, сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить нашу мысль. Главную беду предчувствовала и ожидала Марья Александровна от благородных своих сограждан, мордасовцев, и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть. Она, например, твердо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают все из ее намерений, хотя об них еще никто никому не рассказывал. Она знала, по неоднократному печальному опыту, что не было случая, даже самого секретного, в ее доме, который, случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговке на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Марья Александровна еще только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не обманывалась она и теперь. Вот что случилось на самом деле и чего еще не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через три часа по приезде князя в Мордасов, по городу распространились странные слухи. Где начались они – неизвестно, но разошлись они по-

[32] в общих чертах (франц.)

чти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг друга, что Марья Александровна уже просватала за князя свою Зину, свою бесприданную, двадцатитрехлетнюю Зину; что Мозгляков в отставке и что все это уже решено и подписано. Что было причиною таких слухов? Неужели все до такой степени знали Марью Александровну, что разом попали в самое сердце ее заветных мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с обыкновенным порядком вещей, потому что такие дела очень редко могут обделываться в один час, ни очевидная неосновательность такого известия, потому что никто не мог добиться, откуда оно началось, – не могли разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоренялся с необыкновенным упорством. Всего удивительнее, что он начал распространяться именно в то самое время, когда Марья Александровна приступила к своему давешнему разговору с Зиной об этом же самом предмете. Таково-то чутье провинциалов! Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто встречая в провинции вме-

сто психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов. Но это в сторону; это мысль лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался всякому до того выгодным, до того блистательным, что даже странная сторона этого дела никому не бросалась в глаза. Заметим еще одно обстоятельство: Зину ненавидели почти еще больше Марьи Александровны, – за что? – неизвестно. Может быть, красота Зины была отчасти тому причиною. Может быть, и то, что Марья Александровна все-таки была как-то своя всем мордасовцам, *своего поля ягода.* Исчезни она из города, и – кто знает? – об ней бы, может быть, пожалели. Она оживляла общество беспрерывными историями. Без нее было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так, как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове. Была она этим людям как-то не пара, не ровня и, может быть, сама не замечая того, вела себя перед ними невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая Зина, про которую даже ходили скандалезные истории, эта надменная, эта гордячка Зина становится миллионеркой, княгиней, войдет в знать. Года через два, когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, может быть, даже за генерала; чего доброго – пожалуй еще за губернатора (а мордасовский губернатор, как нарочно, вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу). Тогда она будет первая дама в губернии, и, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима и никогда никакая весть не возбудила бы такого негодования в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно подня-

лись яростные крики со всех сторон. Кричали, что это грешно, даже подло; что старик не в своем уме; что старика обманули, надули, облапошили, пользуясь его слабоумием; что старика надо спасти от кровожадных когтей; что это, наконец, разбой и безнравственность; что, наконец, чем же другие хуже Зины? и другие могли бы точно так же выйти за князя. Все эти толки и возгласы Марья Александровна еще только предполагала, но для нее довольно было и этого. Она твердо знала, что все, решительно все готовы будут употребить все, что возможно и что даже невозможно, чтобы воспрепятствовать ее намерениям. Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что приходится его возвращать чуть не с бою. Наконец, хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же будет держать его вечно на привязи. Наконец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа, весь торжественный хор мордасовских дам не будет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что невозможно будет и отказать? Откажи в дверь, войдут в окно: случай почти невозможный, но бывавший в Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени, а между тем дело было еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно созрела в голове Марьи Александровны. Об этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте. Скажем только теперь, что в эту минуту наша героиня летела по мордасовским улицам, грозная и вдохновенная, решившись даже на настоящий бой, если б только представилась надоб-

ность, чтоб овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это сделается и где она встретит его, но зато она знала наверное, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов.

Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела перехватить князя на улице и привезла к себе обедать. Если спросят: каким образом, несмотря на все козни врагов, ей удалось-таки настоять на своем и оставить Анну Николаевну с довольно большим носом? – то я обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обидным для Марьи Александровны. Ей ли не одержать победу над какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой? Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а вместе с тем и на доводы самого Мозглякова, испугавшегося скандалу, пересадила старичка в свою карету. Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех все оправдывает. Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления и, по своему обыкновению, очень скоро забыл обо всем и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он выпил три бокала шампанского. За обедом он выпил еще и закружился окончательно. Тут уж подливала сама Марья Алек-

сандровна. Обед был очень порядочный. Изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество самой очаровательной любезностью. Но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива. Мозгляков был, видимо, не в своей тарелке и мало ел. Он об чем-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Марья Александровна была в большом беспокойстве. Настасья Петровна сидела угрюмая и даже, украдкой, делала Мозглякову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похороны.

А между тем Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут и еще затруднение: надо спешить, торопиться, а этот «проклятый Мозгляков» сидит себе, как болван, которому мало заботы, и только мешает! Ведь нельзя же, в самом деле, начинать такое дело при нем! Марья Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве. Каково же было ее изумление, радостный испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков, только что встали из-за стола, сам подошел к ней и вдруг, совсем неожиданно, объявил, что ему, – разумеется, к его величайшему сожалению, – необходимо сейчас же отправиться.

– Куда это? – спросила с необыкновенным соболезнованием Марья Александровна.

– Вот видите, Марья Александровна, – начал Мозгляков с

беспокойством и даже несколько путаясь, – со мной случилась престранная история. Я уж и не знаю, как вам сказать… дайте мне, ради бога, совет!

– Что, что такое?

– Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете, – тот купец… встретился сегодня со мной. Старик решительно сердится, упрекает, говорит мне, что я загордился. Вот уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не показал. «Приезжай, говорит, сегодня на чай». Теперь ровно четыре часа, а чай он пьет по-старинному, как проснется, в пятом часу. Что мне делать? Оно, Марья Александровна, конечно, – но подумайте! Ведь он моего отца-покойника от петли избавил, когда тот казенные деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня все-таки только полтораста душ. А ведь у него миллион, люди говорят, даже больше. Бездетен. Угодишь ему – сто тысяч по духовной оставит. Семьдесят лет, – подумайте!

– Ах, боже мой! так что же это вы! что же вы медлите? – вскричала Марья Александровна, едва скрывая свою радость. – Поезжайте, поезжайте! этим нельзя шутить. То-то я смотрю, за обедом – вы такой скучный! Поезжайте, mon ami, поезжайте! Да вам бы следовало давеча утром с визитом отправиться, показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку! Ах, молодежь, молодежь!

– Да ведь вы же сами, Марья Александровна, – в изумлении вскричал Мозгляков, – вы же сами нападали на меня за

это знакомство! Ведь вы же говорили, что он мужик, борода, в родне с кабаками, с подвальными да поверенными?

– Ах, mon ami![33] Мало ли мы что говорим необдуманного! Я тоже могу ошибиться, я – не святая. Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком расположении духа… Наконец, вы тогда еще не сватались к Зиночке… Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь я поневоле должна смотреть с другой точки зрения, и – какая мать может обвинить меня в этом случае? Поезжайте, ни минуты не медлите! Даже вечер у него посидите… да послушайте! Заговорите как-нибудь обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю, да этак половчее, получше! Ах, боже мой! И у меня ведь это из головы вышло! Мне бы надо самой догадаться вас надоумить!

– Воскресили вы меня, Марья Александровна! – вскричал восхищенный Мозгляков. – Теперь, клянусь, буду во всем вас слушаться! А то ведь я вам просто боялся сказать!.. Ну, прощайте, я и в путь! Извините меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непременно сюда…

– Благословляю вас, mon ami! Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним! Он действительно премилый старичок. Я давно уже переменила о нем мои мысли… Я и всегда, впрочем, любила в нем все это старинное, русское, неподдельное… Au revoir, mon ami, au revoir![34]

---

[33] мой друг (франц.)

[34] До свидания, друг мой, до свидания! (франц.)

«Да как это хорошо, что его черт несет! Нет, это сам бог помогает!» – подумала она, задыхаясь от радости.

Павел Александрович вышел в переднюю и надевал уже шубу, как вдруг, откуда ни возьмись, Настасья Петровна. Она поджидала его.

– Куда вы? – сказала она, удерживая его за руку.

– К Бородуеву, Настасья Петровна! Крестный отец мой; удостоился меня крестить… Богатый старик, оставит что-нибудь, надо польстить!..

Павел Александрович был в превосходнейшем расположении духа.

– К Бородуеву! ну так и проститесь с невестою, – резко сказала Настасья Петровна.

– Как так «проститесь»?

– Да так! Вы думали, она уж и ваша! А вон ее за князя выдавать хотят. Сама слышала!

– За князя? помилосердуйте, Настасья Петровна!

– Да чего «помилосердуйте»! Вот не угодно ли самим посмотреть и послушать? Бросьте-ка шубу, подите-ка сюда!

Ошеломленный Павел Александрович бросил шубу и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. Она привела его в тот самый чуланчик, откуда утром подглядывала и подслушивала.

– Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно ничего не понимаю!..

– А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Комедия,

верно, сейчас начнется.

– Какая комедия?

– Тсс! не говорите громко! Комедия в том, что вас просто надувают. Давеча, как вы отправились с князем, Марья Александровна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя, говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться, и такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я все отсюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе честили! просто за дурака почитают, а Зина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура! Красный бантик приколоть хотела! Послушайте-ка, послушайте-ка!

– Да ведь это безбожнейшее коварство, если так! – прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Настасье Петровне.

– Да вы только послушайте, и не то еще услышите.

– Да где же слушать?

– Да вот нагнитесь, вот в эту дырочку…

– Но, Настасья Петровна, я… я не способен подслушивать.

– Эк, когда хватились! Тут, батюшка, честь-то в карман; пришли, так уж слушайте!

– Но, однако же…

– А не способны, так и оставайтесь с носом! Вас же жалеют, а он куражится! Мне что! ведь я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь!

Павел Александрович скрепя сердце нагнулся к щелочке. Сердце его билось, в висках стучало. Он почти не понимал, что с ним происходит.

Глава VIII

– Так вам очень было весело, князь, у Натальи Дмитриевны? – спросила Марья Александровна, плотоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожидания.

После обеда князя тотчас же перевели в «салон», в котором принимали его утром. Все торжественные случаи и приемы происходили у Марьи Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок, с шести бокалов, как-то весь раскис и некрепко держался на ногах. Зато болтал без умолку. Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна понимала, что эта вспышка минутная и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости.

– Чрез-вы-чайно весело, – отвечал князь, – и, знаете, бес-по-добней-шая женщина, Наталья Дмитриевна, бес-по-добнейшая женщина!

Как ни занята была Марья Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала сопернице уколола ее в самое сердце.

– Помилуйте, князь! – вскричала она, сверкая глазами, – если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, что после этого! Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества, совершенно не знаете! Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподымите эту кору, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят!

– Неужели? – воскликнул князь. – Удивляюсь!

– Но я клянусь вам в этом! Ah, mon prince. Послушай, Зина, я должна, я обязана рассказать князю это смешное и низкое происшествие с этой Натальей, на прошлой неделе, – помнишь? Да, князь, – это про ту самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которою вы так восхищаетесь. О милейший мой князь! Клянусь, я не сплетница! Но я непременно расскажу это, единственно для того, чтоб рассмешить, чтоб показать вам в живом образчике, так сказать, в оптическое стекло, что здесь за люди! Две недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я зачем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня осталось сахару в серебряной сахарнице: она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю: лежат на донышке только три кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова! У ней свой каменный дом и денег бессчетно! Этот случай смешной, комический, но судите после этого о бла-

городстве здешнего общества!

– Не-у-же-ли! – воскликнул князь, искренно удивляясь. – Какая, однако же, неестественная жадность! Неужели ж она все одна съела?

– Так вот какая она *бесподобнейшая* женщина, князь! как вам нравится этот позорный случай? Да я бы, кажется, умерла в ту же минуту, в которую бы решилась на такой отвратительный поступок!

– Ну да, да… Только, знаете, она все-таки такая belle femme…[35]

– Наталья-то Дмитриевна! помилуйте, князь, да это просто кадушка! Ах, князь, князь! что это вы сказали! Я ожидала в вас гораздо поболее вкусу…

– Ну да, кадушка… только, знаете, она так сложена… Ну, а эта девочка, которая тан-це-ва-ла, она тоже… сложена…

– Сонечка-то? да ведь она еще ребенок, князь! ей всего четырнадцать лет!

– Ну да… только, знаете, такая ловкая, и у ней тоже… такие формы… формируются. Ми-лень-кая такая! и другая, что с ней тан-це-ва-ла, тоже… формируется…

– Ах, это несчастная сирота, князь! Они ее часто берут.

– Си-ро-та. Грязная, впрочем, такая, хоть бы руки вымыла… А, впрочем, тоже за-ман-чи-вая…

Говоря это, князь с какою-то возрастающею жадностью рассматривал Зину в лорнет.

---

[35] статная женщина (франц.)

– Mais quelle charmante personne![36] – бормотал он вполголоса, тая от наслаждения.

– Зина, сыграй нам что-нибудь, или нет, лучше спой! Как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка! И если б вы знали, князь, – продолжала Марья Александровна вполголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своею тихою, плавною поступью, от которой чуть не покоробило бедного старичка, – если б вы знали, какая она дочь! Как она умеет любить, как нежна со мной! Какие чувства, какое сердце!

– Ну да… чувства… и, знаете ли, я только одну женщину знал, во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по кра-со-те, – перебил князь, глотая слюнки. – Это покойная графиня Наинская, умерла лет тридцать тому назад. Восхи-тительная была женщина, неопи-сан-ной красоты, потом еще за своего повара вышла…

– За своего повара, князь!

– Ну да, за своего повара… за француза, за границей. Она ему за гра-ни-цей графский титул доставила. Видный был собой человек и чрезвычайно образованный, с маленькими такими у-си-ка-ми.

– И… и… как же они жили, князь?

– Ну да, она хорошо жили. Впрочем, они скоро потом разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились…

---

[36] Но какое очаровательное существо! (франц.)

– Маменька, что мне играть? – спросила Зина.

– Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет, князь! Вы любите музыку?

– О да! Charmant, charmant! Я очень люблю му-зы-ку. Я за границей с Бетховеном был знаком.

– С Бетховеном! Вообрази, Зина, князь был знаком с Бетховеном! – кричит в восторге Марья Александровна. – Ах, князь! неужели вы были знакомы с Бетховеном?

– Ну да… мы были с ним на дру-жес-кой но-ге. И вечно у него нос в табаке. Такой смешной!

– Бетховен?

– Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бет-ховен, а какой-нибудь другой не-мец. Там очень много немцев… Впрочем, я, кажется, сби-ва-юсь.

– Что же мне петь, маменька? – спросила Зина.

– Ах, Зина! спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского, где еще эта владетельница замка и ее трубадур… Ах, князь! Как я люблю все это рыцарское! Эти замки, замки!.. Эта средневековая жизнь! Эти трубадуры, герольды, турниры… Я буду аккомпанировать тебе, Зина! Пересядьте сюда, князь, поближе! Ах, эти замки, замки!

– Ну да… замки. Я тоже люблю зам-ки, – бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом. – Но… боже мой! – восклицает он, – это романс!.. Но… я знаю этот ро-манс! Я давно уже слышал этот романс… Это так мне на-по-ми-нает… Ах, боже мой!

Я не берусь описывать, что сделалось с князем, когда запела Зина. Пела она старинный французский романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела его прекрасно. Ее чистый, звучный контральто проникал до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные, дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, ее волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная, – все это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела, он захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями (а у кого нет любимых воспоминаний?), стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно… Он готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила.

– O ma charmante enfant![37] – вскричал он, целуя ее пальчики. – Vous me ravissez![38] Я теперь, теперь только вспомнил… Но… но… o ma charmante enfant…

И князь даже не мог докончить.

Марья Александровна почувствовала, что наступила ее минута.

– Зачем же вы губите себя, князь? – воскликнула она торжественно. – Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю жизнь в уединение! убежать от людей, от друзей! Но это непростительно!

---

[37] прелестное дитя (франц.)

[38] Вы меня восхищаете! (франц.)

Одумайтесь, князь! взгляните на жизнь, так сказать, ясным оком! Воззовите из сердца своего воспоминания прошедшего, – воспоминания золотой вашей молодости, золотых беззаботных дней, – воскресите их, воскресите себя! Начните опять жить в обществе, меж людей! Поезжайте за границу, в Италию, в Испанию – в Испанию, князь!.. Вам нужно руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало? Но у вас есть друзья! Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами! Я первая брошу все и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь; я брошу мужа и пойду за вами… и даже, если б я была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если б вы того захотели!

– И я уверен, что вы были une charmante personne в свое вре-мя – проговорил князь, сморкаясь в платок. Глаза его были омочены слезами.

– Мы живем в наших детях, князь, – с высоким чувством отвечала Марья Александровна. – У меня тоже есть свой ангел-хранитель! И это она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь! Она отвергла уже семь предложений, не желая расставаться со мною.

– Стало быть, она с вами поедет, когда вы бу-дете со-провождать меня за гра-ни-цу? В таком случае я непременно поеду за границу! – вскричал князь, одушевляясь. – Неп-ременно поеду! И если б я мог льстить себя на-деж-дою… Но

она очаровательное, оча-ро-ва-тельное дитя! O ma charmante enfant!..[39] – И князь снова начал целовать ее руки. Бедняжка, ему хотелось стать перед ней на колени.

– Но… но, князь, вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою? – подхватила Марья Александровна, почувствовав новый прилив красноречия. – Но вы странны, князь! Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Не молодость составляет красоту. Вспомните, что вы, так сказать, обломок аристократии! вы – представитель самых утонченных, самых рыцарских чувств и… манер! Разве Мария не полюбила старика Мазепу? Я помню, я читала, что Лозён, этот очаровательный маркиз двора Людовика… я забыла которого, – уже в преклонных летах, уже старик, – победил сердце одной из первейшей придворных красавиц!.. И кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому! Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер! Но появитесь где-нибудь теперь, за границей, на водах, с молодою женой, с такой же красавицей, как например моя Зина, – я не об ней говорю, я говорю только так, для сравнения, – и вы увидите, какой колоссальный будет эффект! Вы – обломок аристократии, она – красавица из красавиц! вы ведете ее торжественно под руку; она поет в блестящем обществе, вы, с своей стороны, сыплете остроумием, – да все воды сбегутся смотреть на вас! Вся Европа за-

---

[39] прелестное дитя (франц.)

кричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос… Князь, князь! И вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою?

– Фельетоны… ну да. ну да!.. Это в газетах… – бормочет князь, вполовину не понимая болтовню Марья Александровны и раскисая все более и более. – Но… ди-тя мое, если вы не ус-тали, – повторите еще раз тот романс, который вы сейчас пели!

– Ах, князь! Но у ней есть и другие романсы, еще лучше… Помните, князь, «L'hirondelle?[40]» Вы, вероятно, слышали?

– Да, помню… или, лучше сказать, я за-был. Нет, нет, прежний ро-манс, тот самый, который она сейчас пе-ла! Я не хочу «L'hirondelle»! Я хочу тот романс… – говорил князь, умоляя, как ребенок.

Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колена. Он плакал.

– O ma belle chвtelaine![41] – воскликнул он своим дребезжащим от старости и волнения голосом. – O ma charmante chвtelaine![42] О милое дитя мое! вы мне так много на-помнили… из того, что давно прошло… Я тогда пел дуэты… с виконтессой… этот самый романс… а теперь… Я не знаю, что уже те-перь…

Всю эту речь князь произнес задыхаясь и захлебываясь.

---

[40] «Ласточку» (франц.)

[41] моя прекрасная владычица! (франц.)

[42] моя очаровательная владычица! (франц.)

Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Марья Александровна немедленно подлила масла в огонь.

– Князь! Но вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину! – вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная.

Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания.

– Я до безумия влюблен в нее! – вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, все еще стоя на коленах и весь дрожа от волнения. – Я ей жизнь готов отдать! И если б я только мог на-де-яться… Но подымите меня, я не-мно-го ослаб… Я… если б только мог надеяться предложить ей мое сердце, то… я она бы мне каждый день пела ро-ман-сы, а я бы все смотрел на нее… все смотрел… Ах, боже мой!

– Князь, князь! вы предлагаете ей свою руку! вы хотите ее взять у меня, мою Зину! мою милую, моего ангела, Зину! Но я не пущу тебя, Зина! Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери! – Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятиях, хотя чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали… Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела на всю комедию. Однако ж она молчала, а это – все, что было надо Марье Александровне.

– Она девять раз отказывала, чтоб только не разлучаться с своей матерью! – кричала она. – Но теперь – мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она

так смотрела на вас… Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью!.. О! вы разлучите нас; я это предчувствую!..

– Я о-бо-жаю ее! – пробормотал князь, все еще дрожа как осиновый листик.

– Итак, ты оставляешь мать свою! – воскликнула Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею дочери.

Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча протянула князю свою прекрасную руку и даже заставила себя улыбнуться. Князь с благоговением принял эту ручку и покрыл ее поцелуями.

– Я только теперь на-чи-наю жить, – бормотал он, захлебываясь от восторга.

– Зина! – торжественно проговорила Марья Александровна, – взгляни на этого человека! Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, которых я знаю! Это рыцарь средних веков! Но она это знает, князь; она знает, на горе моему сердцу… О! зачем вы приехали! Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь! Вас умоляет мать, и какая мать осудит меня за мою горесть!

– Маменька, довольно! – прошептала Зина.

– Вы защитите ее от обиды, князь? Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину?

– Довольно, маменька, или я…

– Ну да, блеснет… – бормотал князь. – Я только теперь

начинаю жить… Я хочу, чтоб сейчас же, сию ми-нуту была свадьба… я… Я хочу послать сейчас же в Ду-ха-но-во. Там у меня брил-ли-анты. Я хочу положить их к ее ногам…

– Какой пыл! какой восторг! какое благородство чувств! – воскликнула Марья Александровна. – И вы могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света? Я тысячу раз буду это говорить! Я вне себя, когда вспомню об этой адской…

– Что же мне де-лать, я так бо-ялся! – бормотал князь, хныча и расчувствовавшись. – Они меня в су-мас-шед-ший дом посадить хо-те-ли… Я и испугался.

– В сумасшедший дом! О изверги! о бесчеловечные люди! О низкое коварство! Князь, я это слышала! Но это сумасшествие со стороны этих людей. Но за что же, за что?!

– А я и сам не знаю за что! – отвечал старичок, от слабости садясь на кресло. – Я, знаете, на ба-ле был и какой-то анекдот рас-сказал; а им не понра-ви-лось. Ну и вышла история!

– Неужели только за это, князь?

– Нет. Я еще по-том в карты иг-рал с князем Петром Де-мен-тьи-чем и без шести ос-тал-ся. У меня было два ко-роля и три дамы… или, лучше сказать, три дамы и два ко-роля… Нет! один ко-ро-ль! а потом уж были и да-мы…

– И за это? за это! о адское бесчеловечие! вы плачете, князь! Но теперь этого не будет! Теперь я буду подле вас, мой князь; я не расстанусь с Зиной, и посмотрим, как они осмелятся сказать слово!.. И даже, знаете, князь, ваш брак поразит их. Он пристыдит их! Они увидят, что вы еще спо-

собны… то есть они поймут, что не вышла бы за сумасшедшего такая красавица! Теперь вы гордо можете поднять голову. Вы будете смотреть им прямо в лицо…

– Ну да, я буду смотреть им пря-мо в ли-цо, – пробормотал князь, закрывая глаза.

«Однако он совсем раскис, – подумала Марья Александровна. – Только слова терять!»

– Князь, вы встревожены, я вижу это; вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения, – сказала она, матерински нагибаясь к нему.

– Ну да, я бы хотел немно-го по-ле-жать, – сказал он.

– Да, да! Успокойтесь, князь! Эти волнения… Постойте, я сама провожу вас… Я уложу вас сама, если надо. Что вы так смотрите на этот портрет, князь? Это портрет моей матери – этого ангела, а не женщины! О, зачем ее нет теперь между нами! Это была праведница! князь, праведница! – иначе я не называю ее!

– Пра-вед-ни-ца? C'est joli…[43] У меня тоже была мать… princesse…[44] и – вообразите – нео-бык-новенн-но полная была жен-щина… Впрочем, я не то хотел ска-зать… Я не-много ослаб. Adieu, ma charmante enfant!..[45] Я с нас-лажде-нием… я сегодня… завтра… Ну, да все рав-но! au revoir, au

---

[43] это мило (франц.)

[44] княгиня (франц.)

[45] Прощайте, мое прелестное дитя! (франц.)

revoir![46] – тут он хотел сделать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на пороге.

– Осторожнее, князь! Обопритесь на мою руку, – кричала Марья Александровна.

– Charmant! Charmant! – бормотал он, уходя. – Я теперь только на-чи-наю жить…

Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. С сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз ее… В эту минуту отворилась дверь, и Мозгляков вбежал в комнату.

---

[46] до свидания, до свидания (франц.)

Глава IX

Он слышал все, все!

Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением.

– Так-то вы! – вскричал он задыхаясь. – Наконец-то я узнал, кто вы такая!

– Кто я такая! – повторила Зина, смотря на него как на сумасшедшего, и вдруг глаза ее заблистали гневом.

– Как смели вы так говорить со мной! – вскричала она, подступая к нему.

– Я слышал все! – повторил Мозгляков торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад.

– Вы слышали? вы подслушивали? – сказала Зина, с презрением смотря на него.

– Да! я подслушивал! да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая… Я даже не знаю, как и выразиться, чтоб сказать вам… какая вы теперь выходите! – отвечал он, все более и более робея перед взглядом Зины.

– А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право имеете так дерзко говорить со мной?

– Я? Я какое имею право? И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права!.. да вы мне слово дали, вот что!

– Когда?

– Как когда?

– Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного.

– Однакоже вы не прогнали меня, вы не отказали мне совсем; значит, вы удерживали меня про запас! значит, вы завлекали меня.

В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой, пронзительной внутренней боли; но она перемогла свое чувство.

– Если я вас не прогоняла, – отвечала она ясно и с расстановкой, хотя в голосе ее слышалось едва заметное дрожание, – то единственно из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам «нет», но разглядеть вас поближе, и «тогда, – сказали вы, – тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете». Это были ваши собственные слова, в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться! Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели мое отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, двумя неделями раньше, чем вы обещали, и это отвращение я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня: не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали? Знайте, что того не завлекают, перед кем не могут и *не хотят* скрыть своего к

нему отвращения. Вы осмелились выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так: «Если он и не одарен умом, очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него». Но теперь, убедясь, к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок злой дурак, – мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!

Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты.

Мозгляков, догадавшись, что все потеряно, закипел от ярости.

– А! так я дурак, – кричал он, – так я теперь уж дурак! Хорошо! Прощайте! Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его допьяна! Всем расскажу! Узнаете Мозглякова.

Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но, подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь.

В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. Мозгляков еще не уехал, Мозгляков около князя, Мозгляков разззвонит по городу, а тайна, хотя бы на самое малое время, была необходима! У Марьи Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозглякова был уже создан.

– Что с вами, mon ami? – сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку.

– Как: *monami!*– вскричал он в бешенстве, – после того, что вы натворили, да еще: *monami.* Морген-фри, милостивая государыня! И вы думаете, что обманете меня еще раз?

– Мне жаль, мне очень жаль, что вижу вас в *таком* странном состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой.

– Перед дамой! Вы… вы все, что хотите, а не дама! – вскричал Мозгляков. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое.

Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо.

– Сядьте! – грустно проговорила она, показывая ему на кресла, в которых, четверть часа тому, покоился князь.

– Но послушайте наконец, Марья Александровна! – вскричал озадаченный Мозгляков. – Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами! Ведь это нельзя же-с!.. такой тон!.. ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения… знаете ли вы это?

– Друг мой! – отвечала Марья Александровна, – вы позволите мне все еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я; друг мой! вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце – и потому не удивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь

открыть вас все, все мое сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим.

Голос Марьи Александровны был болезненно мягкий.

В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгляков сел подле нее в кресла.

– Вы подслушивали? – продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо.

– Да, я подслушивал! еще бы не подслушивать; вот бы олух-то был! По крайней мере узнал все, что вы против меня затеваете, – грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом.

– И вы, и вы, с вашим воспитанием, с вашими правилами, могли решиться на такой поступок? О боже мой!

Мозгляков даже вскочил со стула.

– Но, Марья Александровна! – вскричал он, – это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились, с вашими правилами, а тогда осуждайте других!

– Еще вопрос, – сказала она, не отвечая на его вопросы, – кто вас надоумил подслушивать, кто рассказал, кто тут шпионил? – вот что я хочу знать.

– Ну уж извините, – этого не скажу-с.

– Хорошо. Я сама узнаю. Я сказала, Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все, все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала возможно больше добра.

– Мне? добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что больше не надуете! Не таков мальчик!

И он повернулся в креслах так, что они затрещали.

– Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всем согласитесь. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить все, все, и вы узнали бы от меня все дело, до малейшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснилась с вами заранее, давеча, то единственно потому, что все дело еще было в проекте. Оно могло и не состояться. Видите: я с вами вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя.

– Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви *до безумия,* – иронически проговорил Мозгляков.

– Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее.

– Ну, не до тону теперь, Марья Александровна! А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня ну честить! Вы чернили меня, – вот что я вам говорю-с! Я это все знаю, все!

– И, верно, из того же грязного источника? – заметила Марья Александровна, презрительно улыбаясь. – Да, Павел

Александрович, я чернила вас, я наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, может быть, даже клеветать на вас, – уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить! Недальновидный человек! Если б она не любила вас, нужно ли б было мне вас чернить, представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы еще не знаете всего! Я должна была употребить власть матери, чтоб исторгнуть вас из ее сердца, и, после невероятных усилий, достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова; пела как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я, из жалости к ней, увела наконец отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы…

Мозгляков действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах.

– Но вы, вы, за что вы-то были против меня, Марья Александровна? – вскричал он. – за что вы чернили меня, клеветали на меня, – в чем сами признаетесь теперь?

– А, это другое дело! Вот если б вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да, вы правы! Все это сделала я, и я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? отвечаю: во-первых, для Зины. Князь богат,

знатен, имеет связи, и, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, – может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, – тогда Зина – молодая вдова, княгиня, в высшем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзала, выйдя за князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила.

– Гм! – промычал Мозгляков, задумчиво смотря на свои сапоги.

– Во-вторых, – и об этом я упомяну только вкратце, – продолжала Марья Александровна, – потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и *очень добры,* но еще слишком молоды, – а я мать, Павел Александрович! Слушайте же: я выдаю Зину за князя отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика. Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувств, обаянием подвига. В ней самой есть что-то

рыцарское. Я представила ей как дело высокохристианское, быть опорой, утешением, другом, дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не страх, не уныние окружали бы его в последние дни его жизни, а свет, дружба, любовь. Раем показались бы ему эти последние, закатные дни! Где же тут эгоизм, – скажите, пожалуйста? Это скорее подвиг сестры милосердия, а не эгоизм!

– Так вы… так вы сделали это только для князя, для подвига сестры милосердия? – промычал Мозгляков насмешливым голосом.

– Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович; он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами? Что ж? может быть, в голове моей и были эти расчеты, только не иезуитские, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович: не мешайте в это дело Зину! Она чиста как голубь: она не рассчитывает; она только умеет любить, – милое дитя мое! Если кто и рассчитывал, то это я, и я одна! Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите: кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших, даже в бескорыстнейших делах наших, рассчитываем неприметно, невольно! Конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не

хочу себя обманывать: я сознаюсь, что, при всем благородстве моих целей, я рассчитывала. Но, спросите, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович! я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти, – и какая мать может обвинить меня в этом случае?

Слезы заблистали в глазах Марьи Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами.

– Ну да, какая мать… – проговорил он наконец. – Вы хорошо поете, Марья Александровна, – но… но ведь вы мне дали слово! Вы обнадеживали и меня… Мне-то каково? подумайте! Ведь я теперь, знаете, с каким носом?

– Но неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, mon cher Paul! Напротив: во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня, главным образом, исполнить все это предприятие.

– Моя выгода! – вскричал Мозгляков, на этот раз совершенно ошеломленный. – Это как?

– Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным! – вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу. – О молодость! молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира, мечтать, воображать, что мы живем, – живя чужим умом и чужими мыслями! Вы спрашиваете, *добрый* мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясно-

сти сделать одно отступление: Зина вас любит, – это несомненно! Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она, как бы нарочно, удерживает себя и холодна с вами, – плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович?

– За-ме-чал; и даже сегодня… Однако что же вы хотите сказать, Марья Александровна?

– Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать – и мне ли не угадать сердца моего дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того чтоб вбежать в комнату с упреками и даже ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, – вообразите, что вы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души…

– Гм!..

– Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите: «Зинаида! Я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего

же счастия, и я уже не смею восставать против них, Зинаида! я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь!» И тут бы вы устремили на нее взор, – взор закалаемого агнца, если можно так выразиться, – вообразите все это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце!

– Да, Марья Александровна, положим, все это так; я это все понимаю… но что же, – я-то бы сказал, а все-таки ушел бы без ничего…

– Нет, нет, нет, мой друг! Не перебивайте меня! Я непременно хочу изобразить всю картину, со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, чрез несколько времени, в высшем обществе; встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин, и, среди всего этого праздника, вы одни, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну (но так, что вас видно), следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса, сыплется остроумие высшего общества, – а вы один, бледный и убитый вашею страстию! Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами будет она глядеть на вас? «И я, – подумает она, – я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня свое сердце!» Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимою силою!

Марья Александровна остановилась перевести дух. Мозг-

ляков повернулся в креслах с такою силою, что они еще раз затрещали. Марья Александровна продолжала.

– Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию, – в Испанию, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, – где страна любви, где нельзя жить и не любить; где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе! Вы едете туда же, за ней; вы жертвуете службой, связями, всем! Там начинается ваша любовь с неудержимою силой; любовь, молодость. Испания, – боже мой! Разумеется, ваша любовь непорочная, святая; но вы, наконец, *томитесь,* смотря друг на друга. Вы меня понимаете, *monami!* Конечно, найдутся низкие, коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочною, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному!.. Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но – что до этого! Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец, он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите: за кого ж выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знатную, – и в какое же время? – когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож! Чрез нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества; через нее вы получаете вдруг значительное место,

входите в чины. Теперь у вас полтораста душ, а тогда вы богаты; князь устроит все в своем завещании; я берусь за это. И наконец, главное, она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах, и вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения!.. И вы, и вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтоб не замечать, чтоб не сообразить, чтоб не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя выгода!» Павел Александрович, помилуйте!

– Марья Александровна! – вскричал Мозгляков в необыкновенном волнении, – теперь я все понял! я поступил грубо, низко и подло!

Он вскочил со стула и схватил себя за волосы.

– И не расчетливо, – прибавила Марья Александровна, – главное: не расчетливо!

– Я осел, Марья Александровна! – вскричал он почти в отчаянии. – Теперь все погибло, потому что я до безумия люблю ее!

– Может быть, и не все погибло, – проговорила госпожа Москалева тихо, как будто что-то обдумывая.

– О, если б это было возможно! Помогите! научите! спасите!

И Мозгляков заплакал.

– Друг мой! – с состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку, – вы это сделали от излишней го-

рячки, от кипения страсти, стало быть, от любви же к ней! Вы были в отчаянии, вы не помнили себя! ведь должна же она понять все это…

– Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать! – кричал Мозгляков.

– Послушайте, я оправдаю вас перед нею…

– Марья Александровна!

– Да, я берусь за это! Я сведу вас. Вы выскажете ей все, все, как я вам сейчас говорила!

– О боже! как вы добры, Марья Александровна!.. Но… нельзя ли это сделать сейчас?

– Оборони бог! О, как вы неопытны, друг мой! Она такая гордая! Она примет это за новую грубость, за нахальность! Завтра же я устрою все, а теперь – уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу… пожалуй, приходите вечером; но я бы вам не советовала!

– Уйду, уйду! боже мой! вы меня воскрешаете! но еще один вопрос: ну, а если князь не так скоро умрет?

– Ах, боже мой, как вы наивны, mon cher Paul. Напротив, нам надобно молить бога о его здоровье. Надобно всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку! Я первая, со слезами, и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы! кажется, здоровье князя ненадежно! К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох боюсь, чтоб это окончательно не довершило его! Но – будем

молиться, cher Paul, а остальное – в руце божией!.. Вы уже идете! Благословляю вас, mon ami! Надейтесь, терпите, мужайтесь, главное – мужайтесь! Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших…

Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цыпочках вышел из комнаты.

– Ну, проводила одного дурака! – сказала она с торжеством. – Остались другие…

Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного. Глаза ее сверкали.

– Маменька! – сказала она, – кончайте скорее, или я не вынесу! Все это до того грязно и подло, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня! Меня тошнит, слышите ли: меня тошнит от всей этой грязи!

– Зина! что с тобою, мой ангел? Ты… ты подслушивала! – вскричала Марья Александровна, пристально и с беспокойством вглядываясь в Зину.

– Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня, как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу все и покончу все разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость! Но… я не знала себя! Я задохнусь от этого смрада!.. – И она вышла, хлопнув дверями.

Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась.

– Спешить, спешить! – вскричала она, встрепенувшись. – В ней главная беда, главная опасность, и если все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по городу, – что, уж верно, и сделано, – то все пропало! Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало и немедленно надо увезти князя в деревню! Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, наконец, пригодиться! А там тот выспится – и отправимся! – Она позвонила.

– Что ж лошади? – спросила она вошедшего человека.

– Давно готовы-с, – отвечал лакей.

Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя.

Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтоб сообщить ей, в главных чертах, свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели, лицом в подушках; она обливалась слезами и рвала свои длинные, чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы.

Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении, и чтоб вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать что есть мочи.

«Скверно то, что Зина подслушивала! – думала она, сидя в карете. – Я уговорила Мозглякова почти теми же словами,

как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась… Гм! Но главное, главное – успеть все обделать, покамест не пронюхали! Беда! Ну, если на грех моего дурака нету дома!..»

И при одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеичу; она ворочалась на своем месте от нетерпения. Лошади мчали ее во всю прыть.

Глава X

Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марьи Александровны еще утром, в то время когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была: в свою очередь конфисковать князя и, как можно скорее, увезти его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеич. Не скроем, что на Марью Александровну все более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями, именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. «А уж раз в деревне, – рассуждала она, – так тут хоть весь город вверх ногами!» Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Все могло случиться, все, решительно все, хотя мы, конечно, не верим слухам, распространенным впоследствии про мою героиню ее злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра; в самом крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же свадьбы, которые в два часа обделывались! Князю представить эту поспешность, это от-

сутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимое comme il faut; внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее. Наконец, можно было все выставить как романическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае можно даже и напоить его или, еще лучше, держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни случилось, Зина все-таки будет княгиней! Если же не обойдется потом без скандалу, например, хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение. Во-первых, все это еще впереди; а во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу, особенно в делах свадебных; что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Мйmoires du Diable».[47] Что, наконец, стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее, то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна, всем вместе или поодиночке. Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасьем Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надоб-

[47] «Записок дьявола» (франц.)

ность. Действительно: вести князя в деревню значило везти его к Афанасию Матвеичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвеич произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же явление пожилого и сановитого отца семейства, в белом галстуке и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. От такого настойчивого и парадного приглашения трудно и отказаться, думала Марья Александровна. Наконец, карета пролетела три версты, и кучер Сафрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марьи Александровны. В доме уже горели огни.

– Где болван? – закричала Марья Александровна, как ураган врываясь в комнаты. – Зачем тут это полотенце? А! он утирался! Опять был в бане? И вечно-то хлещет свой чай! Ну, что на меня глаза выпучил, отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?

Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеичем гораздо мягче, но, уви-

дев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле: столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного квиетизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвеича; такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и, в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену.

– Да не даются, оттого и не стриг, – проговорил он ворчливым и осиплым голосом. – Десять раз с ножницами подходил, – вот, говорю, барыня ужо-тка приедет, – нам обоим достанется, тогда чего станем делать? Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь; мне надо, чтоб волосы длинные были.

– Как? так он завивается! так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет? – кричала супруга, накидываясь все более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасья Матвеича.

– Ма-матушка! – пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою по-

велительницу, – ма-ма-матушка!..

– Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка, пигмей ты этакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!

– Да… да ведь ты, Марья Александровна, все же законная жена моя, так вот я и говорю… по-супружески… – возразил было Афанасий Матвеич и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове, чтоб защитить свои волосы.

– Ах ты, харя! ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно-низкое слово: *«законная»* – и как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души? Что руками-то голову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы? совсем, совсем мокрые! В три часа не обсохнут! Как теперь везти его? Как теперь людям показать? Что теперь делать?

И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая; но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым свои духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Афанасья Матвеича, потому что ти-

рания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами, и мне именно хотелось изобразить этот контраст. Афанасий Матвеич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел, на нее глядя.

– Гришка! – вскричала наконец она, – тотчас же барину одеваться! фрак, брюки, белый галстук, жилет, – живее! Да где его головная щетка, где щетка?

– Матушка! да ведь я из бани: простудиться могу, если в город ехать…

– Не простудишься!

– Да вот и волосы мокрые…

– А вот мы их сейчас высушим! Гришка, бери головную щетку, три его досуха; крепче! крепче! вот так! вот так!

Под эту команду усердный и преданный Гришка что есть силы начал оттирать волосы своего барина, для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеич морщился и чуть не плакал.

– Теперь пошел сюда! подыми его, Гришка! где помада? Нагнись, нагнись, негодяй, нагнись, дармоед!

И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он, на беду свою, не остриг. Афанасий Матвеич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностию выдержал всю операцию.

– Соки ты мои высосал, пачкун ты такой! – проговорила Марья Александровна. – Да нагнись еще больше, нагнись!

– Чем же я, матушка, высосал твои соки? – промямлил супруг, нагибая как только мог более голову.

– Болван! аллегории не понимает! Теперь причешись; а ты одевай его, да живее!

Героиня наша уселась в кресла и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстука, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением.

– Куда ж это ты везешь меня, Марья Александровна? – проговорил он, охорашиваясь.

Марья Александровна не поверила было ушам своим.

– Слышите! ах ты, чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя!

– Матушка, да ведь надо же знать…

– Молчать! Вот только назови еще раз меня матушкой, особенно там, куда теперь едем! Целый месяц просидишь без чаю.

Испуганный супруг умолк.

– Ишь! ни одного креста ведь не выслужил, чумичка ты этакая, – продолжала она, с презрением смотря на черный

фрак Афанасия Матвеича.

Афанасий Матвеич наконец обиделся.

– Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка, – проговорил он в благородном негодовании.

– Что, что, что? Да ты здесь рассуждать научился! ах ты, мужик ты этакой! ах ты, сопляк! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я… Ну да потом припомню! Давай ему шляпу, Гришка! Давай ему шубу! Здесь без меня все эти три комнаты прибрать; да зеленую, угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы, с часов тоже, да чтоб через час все было готово. Да сам надень фрак, людям выдай перчатки, слышишь, Гришка, слышишь?

Сели в карету. Афанасий Матвеич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя, – как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее.

– А я вот, Марья Александровна, сегодня сон преоригинальный видел, – возвестил он, совсем неожиданно, посреди обоюдного молчания.

– Тьфу ты, проклятое чучело! Я думала и бог знает что! Какой-то сон! да как ты смеешь лезть ко мне с своими мужицкими снами! Оригинальный! понимаешь ли еще, что такое оригинальный? Слушай, говорю в последний раз, если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я, – я уж и не знаю, что

с тобой сделаю! Слушай хорошенько: ко мне приехал князь К. Помнишь князя К.?

– Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал?

– Молчи, не твое дело! Ты должен с особенною любезностию, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. За тем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти! Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь?

– Ну, а если что-нибудь спросят?

– Все равно молчи.

– Но ведь нельзя же все молчать, Марья Александровна.

– В таком случае отвечай односложно, что-нибудь этакое, например: «гм!» или что-нибудь такое же, чтоб показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь.

– Гм.

– Пойми ты меня! Я тебя везу для того, что ты услышал о князе и тотчас же, в восторге от его посещения, прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню; понимаешь?

– Гм.

– Да ты не теперь гумкай, дурак! ты мне-то отвечай.

– Хорошо, матушка, все будет по-твоему; только зачем я приглашать-то буду князя?

– Что, что? опять рассуждать! А тебе какое дело: зачем?

да как ты смеешь об этом спрашивать?

– Да я все к тому, Марья Александровна: как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать?

– Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся, слышишь, только кланяйся, а шляпу в руках держи. Понимаешь?

– Понимаю, мат… Марья Александровна.

– Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной и веселой улыбкой, слышишь?

– Гм.

– Опять загумкал! Со мной не гумкать! Прямо и просто отвечай: слышишь или нет?

– Слышу, Марья Александровна, слышу, как не услышать, а гумкаю для того, что приучаюсь, как ты велела. Только я все про то же, матушка; как же это: если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться. Ну, а все-таки если что меня спросит?

– Экой непонятливый балбес! Я уже сказала тебе: молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да улыбайся.

– Да ведь он подумает, что я немой, – проворчал Афанасий Матвеич.

– Велика важность! пусть думает; зато скроешь, что ты дурак.

– Гм… Ну, а если другие об чем-нибудь спрашивать будут?

– Никто не спросит, никого не будет. А если, на случай, –

чего боже сохрани! – кто и приедет, да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка?

– Это остроумная, что ли, матушка?

– Я тебе дам, болван, остроумная! Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумия? Насмешливая улыбка, понимаешь, – насмешливая и презрительная.

– Гм.

«Ох, боюсь я за этого болвана! – шептала про себя Марья Александровна. – Решительно, он поклялся высосать все мои соки! Право бы, лучше было его совсем не брать!»

Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей все казалось тихо. Афанасий Матвеич молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны. Но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двуместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая – Наталья Дмитриевна, с недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марьи Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья.

Раздались радостные восклицания:

– Марья Александровна! и вместе с Афанасием Матвеичем! приехали! откуда? Как кстати, а мы к вам, на весь вечер! Какой сюрприз!

Гостьи выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим.

«Провалились бы вы! – подумала она про себя. – Это пахнет заговором! Надо исследовать! Но… не вам, сорокам, перехитрить меня!.. Подождите!..»

Глава XI

Мозгляков вышел от Марьи Александровны, по-видимому вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К Бородуеву он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение с Зиной, потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам; мимоходом под шумок, – внимание какой-нибудь графини из «высшего общества», в которое он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князя К., вице-губернаторское место, денежки, – одним словом, все, так красноречиво расписанное Марьей Александровной, еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, льстя его самолюбию. Но вот – и не знаю, право, как это объяснить, – когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль: что ведь, во всяком случае, все это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и

незнакомый ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, враставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве, именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Все это, неизвестно почему, начало сердить Павла Александровича – признак очень дурной, потому что, при хорошем обороте дел, все, напротив, кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове; очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених. И вдруг он явится теперь перед всеми – в отставке! Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о Гвадалквивире! Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел наконец на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце: «Да правда ли это все? Да сбудется ли это все так, как Марья Александровна расписывала?» Тут он, кстати, припомнил, что Марья Александровна – чрезвычайно хитрая дама, что она, как ни достойна всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера. Что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины и что, наконец, расписывать – всякий

мастер. Думал он и о Зине; припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви; да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки, час тому, съел от нее дурака. При этом воспоминании Павел Александрович вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез от стыда. Как нарочно, в следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие: он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Покамест он барахтался в снегу, стая собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович, с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе, добрел наконец до угла улицы и тут только заметил, что заблудился. Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице; его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие идеи! – говорил он про себя, плюя от злости. – А чтобы сам дьявол вас всех побрал с вашими высокими чувствами да с Гвадалквивирами!» Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав два часа, дошел он до подъезда до-

ма Марьи Александровны. Увидев много экипажей – он удивился. «Неужели же гости, неужели званый вечер? – подумал он. – С какою же целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Марья Александровна была в деревне и привезла с собою Афанасия Матвеича, в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость, из мщения, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться.

Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах, перед дорожным своим туалетом и с совершенно голою головою, но уже в эспаньолке и в бакенах. Парик его был в руках седого, старинного камердинера и любимца его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел, как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и раскисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая его.

– Как ваше здоровье, дядюшка? – спросил Мозгляков.

– Как… это ты? – проговорил наконец дядюшка. – А я, брат, немножко заснул. Ах, боже мой! – вскрикнул он, весь оживившись, – ведь я… без па-рика!

– Не беспокойтесь, дядюшка! я… я вам помогу, если вам угодно.

– А вот ты и узнал теперь мой секрет! Я ведь говорил, что надо дверь за-пи-рать. Ну, мой друг, ты должен не-медленно дать мне свое честное сло-во, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы нак-лад-ные.

– О, помилуйте, дядюшка! неужели вы меня считаете способным на такую низость! – вскричал Мозгляков, желая угодить старику для… дальнейших целей.

– Ну да, ну да! И так как я вижу, что ты благородный человек, то уж так и быть, я тебя у-див-лю… и открою тебе все мои тай-ны. Как тебе нравятся, мой милый, мои у-сы?

– Превосходные, дядюшка! удивительные! как могли вы их сохранить так долго?

– Разуверься, мой друг, они нак-лад-ные! – проговорил князь, с торжеством смотря на Павла Александровича.

– Неужели? Поверить трудно. Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы, верно, черните их?

– Черню? Не только не черню, но и они совершенно искусственные!

– Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не верю. Вы надо мною смеетесь!

– Parole d'honneur, mon ami![48] – вскричал торжествующий князь, – и предс-тавь себе, все, реши-тельно все, так же как

[48] Честное слово, мой друг! (франц.)

и ты, обма-ны-ваются! Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама иногда их нак-ла-ды-вает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово…

– Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю вам: неужели вы меня считаете способным на такую низость?

– Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня! Феофил меня опять из кареты вы-валил.

– Вывалил опять! когда же?

– А вот мы уже к мо-нас-тырю подъезжали…

– Знаю, дядюшка, давеча.

– Нет, нет, два часа тому назад, не бо-лее. Я в монастырь поехал, а он меня взял да и вывалил; так на-пу-гал, – даже теперь сердце не на месте.

– Но, дядюшка, ведь вы почивали! – с изумлением проговорил Мозгляков.

– Ну да, почивал… а потом и по-е-хал, впрочем, я… впрочем, я это, может быть… ах, как это странно!

– Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне! Вы преспокойно себе почивали, с самого послеобеда.

– Неужели? – И князь задумался. – Ну да, я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я все помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то престрашный бык с рогами; а потом приснился какой-то про-ку-рор, тоже как будто с ро-гами…

– Это, верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка.

– Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бона-парте

видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бона-парте похож… а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?

– Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

– Ну да, это en-face.[49] Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел, и, знаешь, какой разговорчивый, разбитной, ве-сельчак такой, так что он чрез-вы-чайно меня позабавил.

– Это вы про Наполеона, дядюшка? – проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове, – мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета.

– Ну да, про На-по-леона. Мы с ним все про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили… анг-ли-чане. Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек! Но все-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на не-о-би-таемый остров…

– Почему же на необитаемый? – спросил Мозгляков рассеянно.

– Ну, хоть и на о-би-таемый, только не иначе, как благоразумными жителями. Ну и разные разв-ле-чения для него устроить: театр, музыку, балет – и все на казенный счет. Гу-

---

[49] анфас (франц.)

лять бы его выпускал, разумеется, под присмотром, а то бы он сейчас у-лиз-нул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, о-те-чески содержал. Он бы у меня и рас-ка-ялся…

Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу, – он еще сам не знал зачем; но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления.

– Ах, mon ami! Я ведь тебе и забыл ска-зать. Представь себе, я ведь сделал сегодня пред-ло-жение.

– Предложение, дядюшка? – вскричал Мозгляков, оживляясь.

– Ну да, пред-ло-жение. Пахомыч, ты уж идешь? Ну, хорошо. C'est une charmante personne…[50] Но, признаюсь тебе, милый мой, я поступил необ-ду-манно. Я только теперь это ви-жу. Ах, боже мой!

– Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение?

– Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю наверное когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, од-на-ко же, стран-но!

Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове.

– Но кому, когда вы сделали предложение, дядюшка? –

---

[50] Это прелестное создание (франц.)

повторил он в нетерпении.

– Хозяйской дочери, mon ami… cette belle personne…[51] впрочем, я забыл, как ее зо-вут. Только, видишь ли, mon ami, я ведь никак не могу же-нить-ся. Что же мне теперь делать?

– Да, вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение?

– Ну да… я уверен.

– А если все это вы видели во сне, так же как и то, что вы другой раз вывалились из кареты?

– Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже видел во сне! так что я теперь и не знаю, как туда по-ка-зать-ся. Как бы это, друг мой, узнать на-вер-но, каким-нибудь по-сто-рон-ним образом: делал я предложение иль нет? А то, представь, каково теперь мое положение?

– Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего.

– А что?

– Я наверно думаю, что вы видели это во сне.

– Я сам то же думаю, мой ми-лый, тем более что мне часто снятся по-доб-ные сны.

– Вот видите, дядюшка. Представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец…

– Ну да, мой друг; именно, может быть, от э-то-го.

– Тем более, дядюшка, что, как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого

---

[51] этой прелестной особе (франц.)

безрассудного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и…

– Ну да, ну да.

– Представьте только одно: если б узнали это ваши родственники, которые и без того дурно расположены к вам, – что бы тогда было?

– Ах, боже мой! – вскрикнул испуганный князь. – А что бы тогда было?

– Помилуйте! да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули, и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор.

Мозгляков знал, чем можно было напугать старика.

– Ах, боже мой! – вскричал князь, дрожа как лист. – Неужели бы посадили?

– И потому рассудите, дядюшка: могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы все это видели во сне.

– Непременно во сне, неп-ре-менно во сне! – повторял напуганный князь. – Ах, как ты умно рассудил все это, мой милый! Я душевно тебе благодарен, что ты меня вра-зу-мил.

– А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Представьте себе: без меня вы бы действительно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно!

– Ну да… да, опасно!

– Вспомните только, что этой девице двадцать три года; ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы, богатый, знатный, являетесь женихом! да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно. А там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете.

– Неужели?

– И наконец, вспомните, дядюшка: человек с вашими достоинствами…

– Ну да, с моими достоинствами…

– С вашим умом, с вашею любезностию…

– Ну да, с моим умом, да!..

– И наконец, вы – князь. Такую ли партию вы бы могли себе сделать, если б действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники?

– Ах, мой друг, да ведь они меня совсем заедят! Я уж испытал от них столько коварства и злобы… Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в су-мас-шедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, что б я там стал делать… в сумас-шедшем-то доме?

– Разумеется, дядюшка, и потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости.

– Гости? Ах, боже мой!

– Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас.

– Но как я тебе благо-да-рен, мой милый, ты просто спаситель мой! Но знаешь ли что? Я лучше уеду.

– Завтра, дядюшка, завтра, утром, в семь часов. А сегодня вы при всех откланяйтесь и скажите, что уезжаете.

– Непременно уеду… к отцу Мисаилу… Но, мой друг, ну, как они меня там сос-ва-тают?

– Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне… так, как оно и действительно было.

– Ну да, неп-ре-менно во сне! только, знаешь, мой друг, все-таки это был пре-оча-ро-ва-тельный сон! Она удивительно хороша собой и, знаешь, такие формы…

– Ну прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы…

– Как! так ты меня одного оставляешь! – вскричал князь в испуге.

– Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь: сначала я, а потом вы. Это будет лучше.

– Ну, хо-ро-шо. Мне же, кстати, надобно записать одну мысль.

– Именно, дядюшка, запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром…

– А завтра утром к иеромонаху, непре-менно к ие-ро-монаху! Charmant, charmant! А знаешь, мой друг, она у-ди-вительно хороша собой… такие формы… и если б уж так мне надо было непременно жениться, то я…

– Боже вас сохрани, дядюшка!

– Ну да, боже сохрани!.. Ну, прощай, мой милый, я сейчас… только вот за-пи-шу. A propos, я давно хотел тебя спросить: читал ты мемуары Казановы?

– Читал, дядюшка, а что?

– Ну да… Я вот теперь и за-был, что хотел сказать…

– После вспомните, дядюшка, – до свиданья!

– До свиданья, мой друг, до свиданья! Только все-таки это был очаровательный сон, о-ча-ро-ва-тельный сон!..

Глава XII

– А мы к вам все, все! И Прасковья Ильинишна тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть, – щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь, вместе с Зиной.

– И Катерина Петровна приедут-с, и Фелисата Михайловна тоже хотели быть-с, – прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке. Уже три недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны, за которою давно уже увивалась и ухаживала и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком, вместе с косточками.

– Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня и еще вечером, – запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления, – но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь?

– О боже мой, Марья Александровна, какие вы, право-с! – сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь, стыд-

ливо и пискливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностию.

– Mais, ma charmante,[52] – защебетала Анна Николаевна, – ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Еще сегодня Петр Михайлович сказал Каллисту Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это нейдет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером да и думаем: поедем-ка к Марье Александровне да и решим всё разом! Наталья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся, так ли, mon ange? – прибавила она игриво, целуя Марью Александровну. – Ах, боже мой! Зинаида Афанасьевна! но вы каждый день все более хорошеете! – Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине.

– Да им и нечего делать больше-с, как хорошеть-с, – сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи.

«Ах, черт бы их взял! я и не подумала об этом театре! изловчились, сороки!» – прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства.

– Тем более, мой ангел, – прибавила Анна Николаевна, – что у вас теперь этот милый князь. Ведь вы знаете, в Духанове, у прежних помещиков, был театр. Мы уж справлялись и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавесь и даже костюмы. Князь был сегодня у меня,

---

[52] Но, моя прелесть (франц.)

и я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь мы нарочно заговорим о театре, вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то – кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы и князя-то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться; ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет, – он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо.

– Конечно, возьмут ролю-с. Ведь их можно заставить всякую ролю разыгрывать-с, – многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна.

Анна Николаевна не обманула Марью Александровну: дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и комильфотностию.

Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрела с необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если б пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Марья Александровна с твердостию приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось, самые естественные; но в каждом заключался какой-нибудь намек, обиняк. Появился чай; все разместились. Одна груп-

па завладела роялем. Зина на приглашение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай кой о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесятерилась в эту минуту, видела все, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждою из посетительниц, хотя их было до десяти, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется, не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александровну ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвеича можно было кой-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы «гм» с таким несчастным и неестественным видом, что было отчего ей прийти в бешенство.

– Марья Александровна! Афанасий Матвеич с нами совсем говорить не хочет, – вскричала одна смелая востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась. – Прикажите ему быть поучтивее с дамами.

– Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сделалось, – отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с

Анной Николаевной и с Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь, – такой, право, неразговорчивый! Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему ж ты не отвечаешь Фелисате Михайловне, Athanase?[53] Что вы его спрашивали?

– Но… но… матушка, ведь ты же сама… – пробормотал было удивленный и потерянный Афанасий Матвеич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет, в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамятел от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю; но чай был слишком горячий. Не соразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, все было ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уж все и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли даже увезти от нее князя, поссорив его с нею в этот же вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание: дверь отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала

[53] Афанасий (франц.)

у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее.

Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить с своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.

– Ах, боже мой! Павел Александрович! – вскрикнуло несколько голосов.

– Ах, боже мой! да ведь это Павел Александрович! как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевым-с? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуева-с, Павел Александрович, – пропищала Наталья Дмитриевна.

– Скрылся? – повторил Мозгляков с какой-то искривившейся улыбкой. – Странное выражение! Извините, Наталья Дмитриевна! Я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать, – прибавил он, многознаменательно взглянув на Марью Александровну.

Марья Александровна затрепетала.

«Как, неужели и этот болван бунтуется! – подумала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова. – Нет, это уж будет хуже всего…»

– Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка… по службе, разумеется? – выскочила дерзкая Фелисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза.

– Отставка? какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге, – сухо отвечал Мозгляков.

– Ну, так поздравляю вас, – продолжала Фелисата Михай-

ловна, – а мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович, тотчас слетишь.

– Разве одни учительские, в уездном училище; тут еще можно найти вакансию, – заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой.

– Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учителишки? – включила Фелисата Михайловна.

Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвеичем, который протягивал ему руку. Мозгляков преглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине и, злобно смотря ей в глаза, прошептал:

– Это все по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам – дурак я иль нет?

– Зачем откладывать? Это и теперь видно, – громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха.

Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса.

– Вы от Бородуева? – решилась наконец спросить Марья Александровна.

– Нет-с, я от дядюшки.

– От дядюшки? так вы, значит, были теперь у князя?

– Ах, боже мой! так, значит, князь уж проснулись; а нам сказали, что они все еще почивают-с, – прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марью Александровну.

– Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна, – отвечал Мозгляков, – он проснулся и, слава богу, теперь уже в своем уме. Давеча его подпоили, сначала у вас, а потом, уж окончательно, здесь, так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того некрепка. Но теперь, слава богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтоб откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как, например, сегодня; а там уж его примет, с рук на руки, Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать, – за это я отвечаю.

Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марью Александровну. Та сидела как будто онемевшая от изумления. С горестию признаюсь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила.

– Так они завтра чем свет уезжают? как же это-с? – проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне.

– Как же это так? – наивно раздалось между гостями. – А мы слышали, что… вот, право, странно!

Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг, нежданно-негаданно, в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Карпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мордасове, до того эксцентрическая, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно, каждый вечер, ровно в семь часов, закусывала, – для желудка, как она выражалась, – и после закуски обыкновенно была в самом эманципированном состоянии духа, чтоб не сказать чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марье Александровне.

– А, так вот вы как, Марья Александровна, – закричала она на всю комнату, – вот вы как со мной поступаете! Не беспокойтесь, я на минутку; я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать: верно ли то, что мне говорили? А! так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна сиди себе дома да чулок вяжи! Весь город назвали, а меня нет! А давеча я вам и друг, и mon ange, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давеча на чем свет ругали и которая вас же руга-

ла, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна! Не надо мне вашего шоколаду a la santé,[54] по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя дома! тьфу!

– Это видно-с, – заметила Наталья Дмитриевна.

– Но, помилуйте, Софья Петровна, – вскрикнула Марья Александровна, покраснев от досады, – что с вами? образумьтесь по крайней мере.

– Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна, я все знаю, все, все узнала! – кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой. – Все узнала! Ваша же Настасья прибежала ко мне и все рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его допьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, – герцогиня в кружевах, – тьфу! Не беспокойтесь, я сама полковница! Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать! Я и почище вас людей видывала. Я у графини Залихватской обедала; за меня обер-комиссар Курочкин сватался! Очень надо мне ваше приглашение, тьфу!

– Видите ли, Софья Петровна, – отвечала Марья Александровна, выходя из себя, – уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притом в *таком* виде, и если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноре-

---

[54] букв.: для здоровья (франц.)

чия, то я немедленно приму свои меры.

– Знаю-с, вы прикажете меня вывести своим людишкам! Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Прощайте, выдавайте замуж кого хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной; мне наплевать на ваш шоколад! Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплясывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-то ногу сломал; сейчас домой принесли, тьфу! А если вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой Матрешке вовремя вашу корову загонять, чтоб она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей Матрешке ноги переломаю. Прощайте, Марья Александровна, счастливо оставаться, тьфу! – Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве.

– Я думаю, они выпили-с, – сладко произнесла Наталья Дмитриевна.

– Но только какая дерзость!

– Quelle abominable femme![55]

– Вот так уж насмешила!

– Ах, какие они неприличности говорили-с!

– Только что ж это она про сговор говорила? Какой же сговор? – насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна.

– Но это ужасно! – разразилась наконец Марья Александровна. – Вот эти-то чудовища и сеют пригорошнями все эти нелепые слухи! Удивительно не то, Фелисата Михайловна,

---

[55] Какая отвратительная женщина! (франц.)

что находятся такие дамы среди нашего общества, – нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят, их…

– Князь! князь! – закричали вдруг все гости.

– Ах, боже мой! ce cher prince![56]

– Ну, слава богу! мы теперь узнаем всю подноготную, – прошептала своей соседке Фелисата Михайловна.

[56] этот бедный князь! (франц.)

Глава XIII

Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад Мозгляков заронил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их своею особою до невероятности. Фелисата Михайловна даже утверждала утром (конечно, не серьезно), что она готова сесть к нему на колени, если это ему будет приятно, – «потому что он милый-милый старичок, милый до бесконечности!» Марья Александровна впилась в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть на его лице и предугадать выход из своего критического положения. Ясно было, что Мозгляков нагадил ужасно и что все дело ее сильно колеблется. Но ничего нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же, как и давеча, как и всегда.

– Ах, боже мой! вот и князь! а мы вас ждали, ждали, – закричали некоторые из дам.

– С нетерпеньем, князь, с нетерпеньем! – пропищали другие.

– Мне это чрезвычайно лест-но, – шепелявил князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар. Дамы тотчас же окружили его. Возле Марьи Александровны остались

только Анна Николаевна да Наталья Дмитриевна. Афанасий Матвеич почтительно улыбался. Мозгляков тоже улыбался и с вызывающим видом глядел на Зину, которая, не обращая на него ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле него на кресла, близ камина.

– Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уезжаете? – пропищала Фелисата Михайловна.

– Ну да, mesdames,[57] уезжаю. Я не-мед-ленно хочу ехать за гра-ни-цу.

– За границу, князь, за границу! – вскричали все хором. – Да что это вам вздумалось?

– За гра-ни-цу, – подтвердил князь, охорашиваясь, – и, знаете, я особенно хочу туда ехать для но-вых идей.

– Как это для новых идей? Это об чем же? – говорили дамы, переглядываясь одна с другой.

– Ну да, для новых идей, – повторил князь с видом глубочайшего убеждения. – все теперь едут для новых и-дей. Вот и я хочу получить но-вы-е и-деи.

– Да уж не в масонскую ли ложу вы хотите поступить, любезнейший дядюшка? – включил Мозгляков, очевидно желая порисоваться перед дамами своим остроумием и развязностью.

– Ну да, мой друг, ты не ошибся, – неожиданно отвечал дядюшка. – Я, дейст-ви-тельно, в старину к одной масонской ложе за границей при-над-лежал и даже имел, в свою оче-

---

[57] сударыни (франц.)

редь, очень много великодушных идей. Я даже собирался тогда много сделать для сов-ре-мен-ного прос-вещения и уж совсем было положил в Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю от-пус-тить. Но он, к удивлению моему, сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был че-ло-век, потом вдруг встречаю его в Па-ри-же, франтом таким, в бакенах, идет по буль-вару с мамзелью. Поглядел на меня, кивнул го-ло-вой. И мамзель с ним такая бойкая, востроглазая, такая за-ман-чивая…

– Ну, дядюшка! Да вы, после этого, всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете, – вскричал Мозгляков, хохоча во все горло.

– Ты совершенно уга-дал мои желания, мой милый, – отвечал князь без запинки. – Я именно хочу их отпустить всех на во-лю.

– Да помилуйте, князь, ведь они тотчас же все убегут от вас, и тогда кто вам будет оброк платить? – вскричала Фелисата Михайловна.

– Конечно, все разбегутся, – тревожно отозвалась Анна Николаевна.

– Ах, боже мой! Не-уже-ли они и в самом деле убегут? – вскричал князь с удивлением.

– Убегут-с, тотчас же все убегут-с и вас одного и оставят-с, – подтвердила Наталья Дмитриевна.

– Ах, боже мой! Ну так я их не от-пу-щу на волю. Впрочем, ведь это я только так.

– Эдак-то лучше, дядюшка, – скрепил Мозгляков.

До сих пор Марья Александровна слушала молча и наблюдала. Ей показалось, что князь совершенно о ней позабыл и что это вовсе не натурально.

– Позвольте, князь, – начала она громко и с достоинством, – вам отрекомендовать моего мужа, Афанасия Матвеича. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моем доме.

Афанасий Матвеич улыбнулся и приосанился. Ему показалось, что его похвалили.

– Ах, я очень рад, – сказал князь, – А-фа-насий Матвеич! Позвольте, я что-то при-по-минаю. А-фа-насий Мат-веич. Ну да, это тот, который в деревне. Charmant, charmant, очень рад. Друг мой! – вскричал князь, обращаясь к Мозлякову, – да ведь это тот самый, помнишь, давеча еще в рифму выхо-дило, Как бишь это? Муж в дверь, а жена… ну да, в какой-то город и жена тоже по-е-хала…

– Ах, князь, да это, верно, муж в дверь, а жена в Тверь, – тот самый водевиль, который у нас прошлого года актеры играли, – подхватила Фелисата Михайловна.

– Ну да, именно в Тверь; я все за-бы-ваю. Charmant, charmant! Так это вы тот самый и есть? Чрезвычайно рад с вами позна-ко-миться, – говорил князь, не вставая с кресел и протягивая руку улыбающемуся Афанасию Матвеичу. – Ну, как ваше здоровье?

– Гм…

– Он здоров, князь, здоров, – торопливо ответила Марья Александровна.

– Ну да, это и видно, что он здо-ров. И вы все в де-ревне? Ну, я очень рад. Да какой он крас-но-щекий, и все смеется…

Афанасий Матвеич улыбался, кланялся и даже расшаркивался. Но при последнем замечании князя не утерпел и вдруг, ни с того ни с сего, самым глупейшим образом прыснул от смеха. Все захохотали. Дамы визжали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на Марью Александровну, которая, в свою очередь, разрывалась от злости. Пора было переменить разговор.

– Как вы почивали, князь? – спросила она медоточивым голосом, в то же время грозным взглядом давая знать Афанасию Матвеичу, чтоб он немедленно убирался на свое место.

– Ах, я очень хорошо спал, – отозвался князь, – и, знаете, видел один очарова-тельный сон, о-ча-ро-ва-тель-ный сон!

– Сон! Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны, – вскричала Фелисата Михайловна.

– И я тоже-с, люблю-с очень-с! – прибавила Наталья Дмитриевна.

– О-ча-ро-вательный сон, – повторял князь с сладкой улыбкой, – но зато этот сон вели-чайший секрет!

– Как, князь, неужели и рассказывать нельзя? Да это, должно быть, удивительный какой-нибудь сон? – заметила Анна Николаевна.

– Ве-ли-чайший секрет, – повторял князь, с наслаждением подзадоривая любопытство дам.

– Так это, должно быть, ужасно интересно! – кричали дамы.

– Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви! – вскричала Фелисата Михайловна. – Ну, признайтесь, князь, что это правда! Миленький князь, признайтесь!

– Признайтесь, князь, признайтесь! – подхватили со всех сторон.

Князь торжественно и с упоением внимал всем этим крикам. Предложения дам чрезвычайно льстили его самолюбию, так что он чуть-чуть не облизывался.

– Хотя я и сказал, что мой сон – величайший секрет, – отвечал он наконец, – но я принужден сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совер-шенно его от-гадали.

– Отгадала! – с восторгом вскричала Фелисата Михайловна. – Ну, князь! Теперь как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица?

– Непременно откройте!

– Здешняя иль нет?

– Миленький князь, откройте!

– Душенька князь, откройте! хоть умрите, да откройте! – кричали со всех сторон.

– Mesdames, mesdames!..[58] если вы уж хотите так на-сто-ятельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это – самая о-ча-ро-вательная и, можно сказать, самая не-по-рочная девица из всех, которых я знаю, – промямлил совершенно растаявший князь.

– Самая очаровательная! и… здешняя! кто ж бы это? – спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой.

– Разумеется, те-с, которые здесь первые красавицы считаются-с, – проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все посмотрели на Зину.

– Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему ж бы вам наяву не жениться? – спросила Фелисата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом.

– А как бы мы славно женили вас! – подхватила другая дама.

– Миленький князь, женитесь! – пропищала третья.

– Женитесь, женитесь! – закричали со всех сторон. – Почему ж не жениться?

– Ну да… почему ж не жениться? – поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками.

– Дядюшка! – вскричал Мозгляков.

– Ну да, мой друг, я тебя по-ни-маю! Я именно хотел вам сказать, mesdames, что я уже не в состоянии более женить-

---

[58] сударыни (франц.)

ся, и, проведя очарова-тельный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за евро-пейским про-све-щением.

Зина побледнела и с невыразимою тоскою посмотрела на мать свою. Но Марья Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала, испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец она поняла все и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру. С величием встала она с кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гордым взглядом измеряя пигмеев врагов своих. Огонь вдохновения блистал в этом взгляде. Она решилась поразить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц, раздавить негодяя Мозглякова как таракана и одним решительным, смелым ударом завоевать вновь все свое потерянное влияние над идиотом князем. Разумеется, требовалась дерзость необыкновенная; но за дерзостью не в карман было ходить Марье Александровне!

– Mesdames, – начала она торжественно и с достоинством (Марья Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность), – mesdames, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам и нахожу, что пора мне сказать свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе – совершенно случайно (и я так рада, так этому рада)… Никогда бы я, первая, не решилась высказать

важную семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требует самое обыкновенное чувство приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя; но мне показалось, что он сам, отдаленными намеками на то же самое обстоятельство, подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно формальное и торжественное объявление нашей семейной тайны, но что даже он желает этого разглашения… Не правда ли, князь, я не ошиблась?

– Ну да, вы не ошиблись… и я очень рад… – проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело.

Марья Александровна, для большего эффекта, остановилась перевести дух и оглядела все общество. Все гостьи с алчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова ее. Мозгляков вздрогнул; Зина покраснела и привстала с кресел; Афанасий Матвеич в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался.

– Да, mesdames, я с радостию готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увлеченный красотою и… достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь! – заключила она дрожащим от слез и от волнения голосом, – милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на меня за мою нескромность! Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну, и… какая мать может обвинить меня в этом случае?

Не нахожу слов, чтоб изобразить эффект, произведенный

неожиданною выходкой Марьи Александровны. Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные гостьи, думавшие напугать Марью Александровну тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее покамест только одними намеками, были ошеломлены такою смелою откровенностию. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. «Стало быть, князь действительно, своею собственною волею, женится на Зине? Стало быть, не потаенным, не воровским образом его заставляют жениться? Стало быть, Марья Александровна никого не боится? Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится?» Послышался мгновенный шепот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первая бросилась обнимать Марью Александровну Наталья Дмитриевна; за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили с своих мест, все перемешались. Многие из дам были бледны от злости. Стали поздравлять сконфуженную Зину; уцепились даже за Афанасия Матвеича. Марья Александровна живописно простерла руки и, почти насильно, заключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на всю эту сцену с каким-то странным удивлением, хотя и улыбался по-прежнему. Впрочем, сцена ему отчасти понравилась. При объятиях матери с дочерью он вынул платок и утер свой глаз, на котором показалась слезинка. Разумеется, бросились к нему с поздравлениями.

– Поздравляем, князь! поздравляем! – кричали со всех сторон.

– Так вы женитесь?

– Так вы действительно женитесь?

– Миленький князь, так вы женитесь?

– Ну да, ну да, – отвечал князь, чрезвычайно довольный поздравлениями и восторгами, – и признаюсь вам, что мне всего более нравится ваше милое учас-тие ко мне, которое я никог-да не забуду, ни-когда не забуду. Charmant! charmant! вы даже про-сле-зили меня…

– Поцелуйте меня, князь! – громче всех кричала Фелисата Михайловна.

– И, признаюсь вам, – продолжал князь, прерываемый со всех сторон, – я наиболее удивляюсь тому, что Марья Ива-новна, наша почтен-ная хозяйка, с такою необык-но-вен-ною проницательностью угадала мой сон. Точно как будто она вместо меня его ви-дела. Необыкновен-ная проницательность! Не-о-бык-но-венная проницательность!

– Ах, князь, вы опять за сон?

– Да уж признайтесь, князь, признайтесь! – кричали все, обступив его.

– Да, князь, скрываться нечего, пора обнаружить эту тайну, – решительно и строго сказала Марья Александровна. – Я поняла вашу тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность, с которою вы старались мне намекнуть о желании вашем огласить ваше сватовство. Да, mesdames, это правда:

сегодня князь стоял на коленях перед моею дочерью и наяву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение.

– Совершенно как будто наяву и даже с теми самыми обстоя-тельствами, – подтвердил князь. – Мадмуазель, – продолжал он, с необыкновенною вежливостью обращаясь к Зине, которая все еще не пришла в себя от изумления, – мадмуазель! Клянусь, что никогда бы я не осмелился произнести ваше имя, если б другие раньше меня не про-из-нес-ли его. Это был очарова-тельный сон, оча-ро-вательный сон, и я вдвойне счастлив, что мне позволено вам теперь это выс-ка-зать. Charmant! charmant!..

– Но, помилуйте, как же это? Ведь он все говорит про сон, – прошептала Анна Николаевна встревоженной и слегка побледневшей Марье Александровне. Увы! У Марьи Александровны, и без этих предостережений, давно уже ныло и трепетало сердце.

– Как же это? – шептали дамы, переглядываясь одна с другой.

– Помилуйте, князь, – начала Марья Александровна с болезненно искривившеюся улыбкою, – уверяю вас, что вы меня удивляете. Что за странная у вас идея про сон? Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы шутите, но… Если это шутка, то это довольно неуместная шутка… Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности, но…

– В самом деле, это, может быть, у них от рассеянности-с, – прошипела Наталья Дмитриевна.

– Ну да… может быть, это и от рассеян-ности, – подтвердил князь, все еще не совсем понимая, чего от него добиваются. – И вообразите, я вам расскажу сейчас один а-некдот. Зовут меня, в Петербурге, на по-хороны, так, к одним людям, maison bourgeoise, mais honnête,[59] а я и смешал, что на именины. Именины-то еще на прошлой неде-ле прош-ли. Букет из камелий име-нин-нице приготовил. Вхожу, и что ж вижу? Человек почтенный, солидный – лежит на столе, так что я уди-вился. Я просто не знал, куда деваться с бу-кетом.

– Но, князь, дело не в анекдотах! – с досадою перебила Марья Александровна. – Конечно, моей дочери нечего гнаться за женихами, но давеча вы сами здесь, у этого рояля, сделали ей предложение. Я не вызывала вас на это… Это меня, можно сказать, фраппировало… Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я отложила это все до вашего пробуждения. Но я – мать; она – дочь моя… Вы сами говорили сейчас о каком-то сне, и я думала, вы, под видом аллегории, хотите рассказать о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что вас, может быть, сбивают… я даже подозреваю, кто именно… но… объяснитесь, князь, объяснитесь, скорее, удовлетворительнее. Так нельзя шутить с благородным домом.

– Ну да, так нельзя шутить с благородным домом, – поддакнул князь бессознательно, но уже начиная понемногу беспокоиться.

---

[59] мещанское, но порядочное семейство (франц.)

– Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно; подтвердите, сейчас же подтвердите здесь, при всех, что вы делали давеча предложение моей дочери.

– Ну да, я готов подтвердить. Впрочем, я все это уже рассказывал, и Фелисата Яковлевна совершенно угадала мой сон.

– Не сон! не сон! – закричала в ярости Марья Александровна, – не сон, а это было наяву, князь, наяву, слышите ли, наяву!

– Наяву! – вскричал князь, в удивлении подымаясь с кресел. – Ну, друг мой! как ты давеча напророчил, так и вышло! – прибавил он, обращаясь к Мозглякову. – Но уверяю вас, почтенная Марья Степановна, что вы заблуждаетесь! Я совершенно уверен, что я это видел только во сне!

– Господи помилуй! – вскрикнула Марья Александровна.

– Не убивайтесь, Марья Александровна, – вступилась Наталья Дмитриевна. – Князь, может быть, как-нибудь позабыли-с. Они вспомнят-с.

– Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна, – с негодованием возразила Марья Александровна, – разве такие вещи забываются? разве это можно забывать? Помилуйте, князь! Вы смеетесь над нами иль нет? Или вы корчите, может быть, из себя одного из шематонов времен регентства, которых изображает Дюма? какого-нибудь Ферлакура, Лозена? Но, кроме того, что это вам не по летам, уверяю вас, что это вам не

удастся! моя дочь не французская виконтесса. Давеча здесь, вот здесь, она вам пела романс, и вы, увлеченные ее пеньем, опустились на колени и сделали ей предложение. Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь: сплю я иль нет?

– Ну да… а, впрочем, может быть, нет… – отвечал растерявшийся князь. – Я хочу сказать, что я теперь, кажется, не во сне. Я, видите ли, давеча был во сне, а потому видел сон, что во сне…

– Фу ты, боже мой, что это такое: не во сне – во сне, во сне – не во сне! да это черт знает что такое! Вы бредите, князь, или нет?

– Ну да, черт знает… впрочем, я, кажется, уж совсем теперь сбился… – проговорил князь, вращая кругом беспокойные взгляды.

– Но как же вы могли видеть во сне, – убивалась Марья Александровна, – когда я, вам же, с такими подробностями, рассказываю ваш собственный сон, тогда как вы его еще никому из нас не рассказывали?

– Но, может быть, князь уж кому-нибудь и рассказывали-с, – проговорила Наталья Дмитриевна.

– Ну да, может быть, я кому-нибудь и рассказывал, – подтвердил совершенно потерявшийся князь.

– Вот комедия-то! – шепнула Фелисата Михайловна своей соседке.

– Ах ты, боже мой! да тут всякое терпенье лопнет! – кричала Марья Александровна, в исступлении ломая руки. –

Она вам пела романс, романс пела! Неужели вы и это во сне видели?

– Ну да, и в самом деле как будто пела романс, – пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то воспоминание оживило лицо его.

– Друг мой! – вскричал он, обращаясь к Мозглякову. – Я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и вправду был какой-то романс и в этом романсе были все какие-то замки, все замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубадур! Ну да, я это все помню… так что я и заплакал… А теперь вот и затрудняюсь, точно это и в самом деле было, а не во сне…

– Признаюсь вам, дядюшка, – отвечал Мозгляков сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от какой-то тревоги, – признаюсь вам, мне кажется, все это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зинаида Афанасьевна спела романс. Меня тогда не было, но вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили старину; может быть, вспомнили о той самой виконтессе, с которой вы сами когда-то пели романсы и о которой вы же сами нам утром рассказывали. Ну, а потом, когда легли спать, вам, вследствие приятных впечатлений, и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение…

Марья Александровна была просто оглушена такою дерзостью.

– Ах, мой друг, ведь это и в самом деле так было, – закричал князь в восторге. – Именно вследствие приятных впечатлений! Я действительно помню, как мне пели романс, а я за это во сне и хотел жениться. И виконтесса тоже была… Ах, как ты умно это распутал, мой милый! Ну! я теперь совершенно уверен, что все это видел во сне! Марья Васильевна! Уверяю вас, что вы ошибаетесь! Это было во сне, иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами…

– А! теперь я вижу ясно, кто тут нагадил! – закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мозглякову. – Это вы, сударь, вы, бесчестный человек, вы все это наделали! вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали! Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду! Заплатишь, заплатишь, заплатишь!

– Марья Александровна, – кричал Мозгляков в свою очередь, покраснев как рак, – ваши слова до такой степени… Я уж и не знаю, до какой степени ваши слова… Ни одна светская дама не позволит себе… я, по крайней мере, защищаю моего родственника. Согласитесь сами, так завлекать…

– Ну да, так завлекать… – поддакивал князь, стараясь спрятаться за Мозглякова.

– Афанасий Матвеич! – взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом. – Неужели вы не слышите, как нас срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанностей? Или вы и в самом деле

не отец семейства, а отвратительный деревянный столб? Что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл обиду своего семейства!

– Жена! – с важностью начал Афанасий Матвеич, гордясь тем, что и в нем настала нужда, – жена! Да уж не видала ль ты и в самом деле все это во сне, а потом, как проспалась, так и перепутала все, по-свойски…

Но Афанасию Матвеичу не суждено было докончить свою остроумную догадку. До сих пор еще гостьи удерживались и коварно принимали на себя вид какой-то чинной солидности. Но тут громкий залп самого неудержимого смеха огласил всю комнату. Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно затем, чтоб немедленно выцарапать ему глаза. Но ее удержали силою. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку, да подлила еще яду.

– Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в самом деле так было-с, а вы убиваетесь, – проговорила она самым медоточивым голосом.

– Как было? что такое было? – кричала Марья Александровна, не понимая еще хорошенько.

– Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и бывает-с…

– Да что такое бывает? Жилы вы из меня, что ли, тянуть хотите?

– Может быть, вы и в самом деле видели это во сне-с.

– Во сне? я? во сне? И вы смеете мне это говорить прямо

в глаза?

– Что ж, может быть, и в самом деле так было, – отозвалась Фелисата Михайловна.

– Ну да, может быть, и в самом деле так было, – пробормотал тоже князь.

– И он, и он туда же! Господи боже мой! – вскричала Марья Александровна, всплеснув руками.

– Как вы убиваетесь, Марья Александровна! Вспомните-с, что сны ниспосылаются богом-с. Уж коли бог захочет-с, так уж никто как бог-с, и на всем его святая воля-с лежит-с. Сердиться тут уж нечего-с.

– Ну да, сердиться нечего, – поддакивал князь.

– Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли? – едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Поднялась суматоха.

– Это они из приличия-с в обморок упали-с, – шепнула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне.

Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения публики и напряжения всей этой сцены, вдруг выступило одно, безмолвное доселе, лицо – и вся сцена немедленно изменилась в своем характере…

Глава XIV

Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романического характера. Не знаем, оттого ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком начиталась «этого дурака» Шекспира с «своим учителишкой», но никогда, во всю мордасовскую жизнь свою, Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романической или, лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать.

Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза.

– Маменька! – сказала Зина. – К чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того загрязнено теперь, что, право, не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь!

– Зина! Зина! что с тобою? опомнись – вскричала испуганная Марья Александровна, вскочив со своих кресел…

– Я вам сказала, я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора, – продолжала Зина. – Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить

себя? Но знайте, маменька, что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я, я своим согласием дала ход этой гадкой… интриге! Вы – мать; вы меня любите; вы думали по-своему, по своим понятиям, устроить мне счастье. Вас еще можно простить; но меня, меня – никогда!

– Зина, неужели ты хочешь рассказывать?.. О боже! я предчувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца!

– Да, маменька, все расскажу! Я опозорена, вы… мы все опозорены!..

– Ты преувеличиваешь, Зина! ты вне себя и не помнишь, что говоришь! и к чему же рассказывать? Тут смысла нет… Стыд не на нас… Я докажу сейчас, что стыд не на нас…

– Нет, маменька, – вскричала Зина с злобным дрожанием в голосе, – я не хочу более молчать перед этими людьми, мнением которых презираю и которые приехали смеяться над нами! Я не хочу сносить от них обид; ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью. Все они готовы сейчас же сделать в тридцать раз хуже, чем я или вы! Смеют ли, могут ли они быть нашими судьями?

– Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что же! Это нас обижают! – послышалось со всех сторон.

– Да они и впрямь сами не понимают, что говорят-с, – проговорила Наталья Дмитриевна.

Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо. Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такою огласс-

кою, с такими признаниями? Вообще Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопились. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. Все бы могло быть исправлено! Все бы могло быть улажено! Правда, и Марья Александровна сама себе подгадила в этот вечер своею поспешностию и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идиотом-старикашкой, да и выгнать его вон! Но Зина, как нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости, обратилась к князю.

– Князь, – сказала она старику, который даже привстал из почтения со стула, – так поразила она его в эту минуту. – Князь! простите меня, простите нас! мы обманули, мы завлекли вас…

– Да замолчишь ли ты, несчастная! – в исступлении вскричала Марья Александровна.

– Сударыня! сударыня! ma charmante enfant… [60] – бормотал пораженный князь.

Но гордый, порывистый и в высшей степени мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний.

– Да, мы обманули вас обе, князь: маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас – слабого, беззащитного, *облапоши-*

---

[60] милое дитя (франц.)

ли, как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества. Все это было ужасно низко, и я каюсь в этом. Но клянусь вам, князь, что я решилась на эту низость не из низкого побуждения. Я хотела… Но что я! двойная низость оправдывать себя в таком деле! Но я объявляю вам, князь, что я, если б и взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плясуньей, рабой…я поклялась и свято бы сдержала клятву мою!..

Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гостьи как будто оцепенели и слушали, выпуча глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им выходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половины не понимал из того, что сказала Зина.

– Но я женюсь на вас, ma belle enfant,[61] если уж вы так хо-ти-те, – бормотал он, – и это для меня будет боль-шая честь! Только уверяю вас, что это был действи-тельно как будто бы сон… Ну, мало ли что я увижу во сне? К чему же так бес-по-коиться? Я даже как будто ничего и не понял, mon ami, – продолжал он, обращаясь к Мозглякову, – объясни мне хоть ты, пожа-луй-ста…

– А вы, Павел Александрович, – подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову, – вы, на которого я одно время решилась было смотреть как на моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили, – неужели и вы

---

[61] прелестное дитя (франц.)

могли примкнуть к этим людям, чтоб растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня! Но не мне читать вам нравоучения! Я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетения! Я вас никогда не любила, и если решилась выйти за вас, то единственно, чтоб хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, и избавиться от всего этого смрада… Но, клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой… Вы жестоко отмстили мне, и, если это льстит вашей гордости…

– Зинаида Афанасьевна! – вскричал Мозгляков.

– Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть…

– Зинаида Афанасьевна!!

– Если когда-нибудь, – продолжала Зина, давя в себе слезы, – если когда-нибудь вы любили меня…

– Зинаида Афанасьевна!!!

– Зина, Зина! дочь моя! – вопила Марья Александровна.

– Я подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец и больше ничего! – скрепил Мозгляков, и все пришло в ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу…

Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающихся наконец взбеситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и последовательными, всегда существует черта, – близкий предел их твердости и последовательности. Протест их бывает вначале

обыкновенно самый энергический. Энергия их даже доходит до исступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но, дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается, как ошеломленный, с ужасным вопросом: «Что это такое я наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтоб все было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее!.. Почти то же самое случилось теперь с Мозгляковым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе; насытив свое негодование и самолюбие и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился, убитый совестью, перед неожиданной выходкой Зины. Последние слова ее добили его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты.

– Я – осел, Зинаида Афанасьевна! – вскричал он в порыве исступленного раскаяния. – Нет! что осел? Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком!.. Дядюшка! я обманул вас! Я, я обманул вас! Вы не спали; вы действительно, наяву, делали предложение, а я, я, подлец, из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели все это во сне.

– Удивительно любопытные вещи-с открываются-с, – про-

шипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне.

– Друг мой, – отвечал князь, – ус-по-койся, по-жа-луйста; ты меня, право, испугал своим кри-ком. Уверяю тебя, что ты о-ши-ба-ешься… Я, пожалуй, готов жениться, если уж так на-до; но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне…

– О, как уверить мне вас! Научите меня, как мне уверить его теперь! Дядюшка, дядюшка! Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело! Сообразите! подумайте!

– Друг мой, изволь, я по-ду-маю. Постой, дай же мне вспомнить все по поряд-ку. Сначала я видел кучера Фе-о-фи-ла…

– Э! не до Феофила теперь, дядюшка!

– Ну да, положим, что теперь не до не-го. Потом был На-по-ле-он, а потом как будто мы чай пили и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела…

– Но, дядюшка, – брякнул Мозгляков в затмении ума своего, – ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну! Ведь я тут же был, я сам это слышал! Я спрятался и смотрел на вас в дырочку…

– Как, Марья Александровна, – подхватила Наталья Дмитриевна, – так вы уж и князю рассказывали-с, что я у вас сахар украла из сахарницы! Так я к вам сахар воровать езжу-с!

– Прочь от меня! – закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния.

– Нет, не прочь, Марья Александровна, вы этак не смеете

говорить-с, а стало быть, я у вас сахар краду-с? Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаете-с. Мне Софья Петровна подробно рассказывала-с… Так я у вас сахар краду-с?..

– Но, mesdames, – закричал князь, – ведь это было только во сне! Ну, мало ли что я увижу во сне?..

– Кадушка проклятая, – пробормотала вполголоса Марья Александровна.

– Как, я и кадушка-с! – взвизгнула Наталья Дмитриевна. – А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зовете-с! У меня, по крайней мере, муж у меня-с, а у вас-то дурак-с…

– Ну да, я помню, была и ка-ду-шка, – пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной.

– Как, и вы туда же дворянку бранить-с? Как вы смеете, князь дворянку бранить-с? Коли я кадушка, так вы безногие-с…

– Кто, я безногий?

– Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!

– Да еще и одноглазый! – закричала Марья Александровна.

– У вас корсет вместо ребер-с! – прибавила Наталья Дмитриевна.

– Лицо на пружинах!

– Волос своих нет-с!..

– И усишки-то, у дурака, накладные, – скрепила Марья Александровна.

– Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий! – вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями. – Друг мой! Это ты меня продал! Это ты рассказал, что волосы у меня нак-лад-ные…

– Дядюшка!

– Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оста-ваться. Уведи ты меня куда-нибудь… quelle société![62] Куда это ты завел меня, бо-же мой?

– Идиот! подлец! – кричала Марья Александровна.

– Боже ты мой! – говорил бедный князь. – Я вот только немного за-был, зачем я сюда приехал, но я сей-час вспом-ню. Уведи ты меня, братец, куда-ни-будь, а то меня растерзают! Притом же… мне не-мед-ленно надо записать одну новую мысль…

– Пойдемте, дядюшка, еще не поздно; я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами…

– Ну да, в гос-ти-ницу. Adieu, ma charmante enfant…[63] вы одна… вы только одна… доб-родетельны. Вы бла-го-род-ная девушка! Пойдем же, мой милый. О боже мой!

Но не стану описывать окончания неприятной сцены, бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась наконец одна,

---

[62] какое общество! (франц.)

[63] Прощайте, мое прелестное дитя! (франц.)

среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы! сила, слава, значение – все исчезло в один этот вечер! Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь? – философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчещена, сплетни пойдут бесконечные! Ужас!

Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеичу, который забился наконец куда-то в чулан и в нем промерз до утра. Наступило наконец и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда никогда одна не приходит…

Глава XV

Если судьба обрушится раз на кого бедою, то ударам ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марьи Александровны! Нет! судьба ей готовила побольше и получше.

Еще до десяти часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми с самою злобною и ожесточенною радостью, – как и обыкновенно встречаем мы все всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних. «До такой степени потерять стыд и совесть! – кричали со всех сторон, – до такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до такой степени распустить все узы!» и проч. и проч. Вот что, однако же, случилось. Рано утром, чуть ли еще не в седьмом часу, одна бедная, жалкая старуха, в отчаянии и в слезах, прибежала в дом Марьи Александровны и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню, одну только барышню, потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь был так труден, так труден, что, может, и дня больше не проживет. Старуха говорила Зине рыдая, что сам Вася зовет ее к себе проститься в предсмерт-

ный час, заклинает ее всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлобленные слухи о перехваченной записке, о скандалезном ее поведении и проч. Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой, через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишка, с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снегу со всех сторон.

В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. Его старуха мать, которая целый год, чуть не до последнего часу, ждала воскресения своего Васеньки, увидала наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не нагляделась и все-таки не могла понять, хоть и знала это,

что чрез несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля там, под сугробами снегу, на бедном кладбище. Но Васе не на нее смотрел в эту минуту. Все лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжелых ночей его болезни. Он понял, что она простила его, явясь к нему как ангел божий в предсмертный час. Она сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами, и – и все прежнее, невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь загорелась снова в его сердце и, казалось, оставляя его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело расставаться с нею.

– Зина, – говорил он, – Зиночка! Не плачь надо мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя, – вот так, как теперь смотрю, – буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня, буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть не приметив смерти! Похудела ты, Зиночка! Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня смотришь! А помнишь, как ты прежде смеялась? помнишь… Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о том, что было, – потому, Зиночка, потому, что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужасные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати, я лежал и думал, долго, много передумал, и

давно уже решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше!.. Я не годился жить, Зиночка!

Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его.

– Что ты плачешь, мой ангел? – продолжал больной. – О том, что я умираю, об этом только? Но ведь все прочее давно уже умерло, давно схоронено! Ты умнее меня, ты чище сердцем и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить меня? И чего мне стоило перенесть эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек! А самолюбия-то сколько тут было, может быть и благородного… не знаю! Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я все мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу презирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь все это было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира, а как дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств…

– Полно, – говорила Зина, – полно!.. все это не так, напрасно… ты убиваешь себя!

– Что ты останавливаешь меня, Зина! Знаю, ты простила меня, и давно, может быть, простила; но ты судила меня и поняла – кто я таков; вот это-то меня и мучит. Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. А, я! Когда дошло до дела…

Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда, и мысли не было! Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта (за будущего то есть), не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал, и дошло наконец до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту. Я просто был дрянь человек! О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю! Хорошо, что ты за меня не вышла! Ничего бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года, – куда! – может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь лучше! Теперь, по крайней мере, горькие слезы мои очистили во мне сердце. Ах! Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как прежде любила! Хоть в этот последний час… Я ведь знаю, что я недостоин любви твоей, но… но… о ангел ты мой!

Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько раз его останавливала. Но он не слушал ее; его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым, удушливым голосом.

– Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить! – сказала Зина. – Ах, зачем, зачем мы сошлись вместе!

– Нет, друг мой, нет, не укоряй себя в том, что я умираю, – продолжал больной. – Во всем я один виноват! Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день… ну, знаешь, после записки-то… и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, – но все мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придешь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени… Я прощаю тебя, умирая на руках твоих… Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

– Не поминай об этом! – сказала Зина, – не говори этого! ты не такой… будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом!

– Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора года я тебя не видал! Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложил! Ведь все то время, с тех пор, я был один-одинешенек, и, кажется, минуты не было, чтоб не думал я о тебе, ангел мой ненаглядный! И знаешь что, Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил, что я умру; ведь меня не сейчас свалило, долго я ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня было предположений! мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я все бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами, и самая лучшая мечта моя была та, что ты задумаешься наконец и скажешь: «Нет! он не такой дурной человек, как я думала!» Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

– Нет, нет, Вася, нет! – говорила Зина.

Она припала к нему на грудь и целовала его руки.

– А как я ревновал тебя все это время! Мне кажется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе! Я подсылал к тебе, караулил, шпионил… вот она все ходила (и он кивнул на мать). – Ведь ты не любила Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О ангел мой? Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь; но пройдут годы, сердце остынет, на-

станет холод, зима на душе, и забудешь ты меня, Зиночка!..

– Нет, нет, никогда! Я не выйду и замуж!.. ты мой первый… всегдашний…

– Все умирает, Зиночка, все, даже и воспоминания!.. И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает благоразумие. Что ж и роптать! Пользуйся жизнию, Зина, живи долго, живи счастливо. Полюби и другого, коль полюбится, – не мертвеца же любить! Только вспомни обо мне, хоть изредка; худого не вспоминай, прости худое; но ведь было же и в нашей любви хорошее, Зиночка! О золотые, невозвратные дни… Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний, закатный час. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот час! О нет, нет! Зачем умирать? О, как бы я хотел теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни, вспомни то время! Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом нас… А теперь! Посмотри, посмотри!

И бедный указал иссохшею рукою на замерзлое, тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти разрывали истерзанную грудь его.

И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина утешала его, как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу.

Так прошел целый день. Между тем испуганная Марья Александровна раз десять посылала к Зине, молила ее воротиться домой и не губить себя окончательно в общем мнении. Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от ужаса, она решилась сама идти к Зине. Вызвав дочь в другую комнату, она, почти на коленях, умоляла ее «отстранить этот последний и главный кинжал от ее сердца». Зина вышла к ней больная: голова ее горела. Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья Александровна ушла наконец в отчаянии, потому что Зина решилась ночевать в доме умирающего. Целую ночь не отходила она от его постели. Но больному становилось все хуже и хуже. Настал и еще день, но уже не было и надежды, что страдалец переживет его. Старуха мать была как безумная, ходила, как будто ничего не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не мог говорить, и только бессвязные, хриплые звуки вырывались из его груди. До самой последней минуты он все смотрел на Зину, все искал ее глазами, и когда уже свет начал меркнуть в его глазах, он все еще блуждающею, неверною рукою искал руку ее, чтоб сжать ее в своей. Между тем короткий зимний день проходил. И когда наконец последний, прощальный луч солнца позолотил замороженное единственное оконце маленькой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим лучом из изможденного тела. Старуха мать, увидя наконец перед собою труп своего ненаглядного Васи, всплеснула руками, вскрикнула и броси-

лась на грудь мертвецу.

– Это ты, змея подколодная, извела его! – закричала она в отчаянии Зине. – Ты, разлучница проклятая, ты, злодейка, его погубила!

Но Зина уже ничего не слыхала. Она стояла над мертвым как обезумевшая. Наконец наклонилась над ним, перекрестила, поцеловала его и машинально вышла из комнаты. Глаза ее горели, голова кружилась. Мучительные ощущения, две почти бессонные ночи чуть-чуть не лишили ее рассудка. Она смутно чувствовала, что все ее прошедшее как бы оторвалось от ее сердца и началась новая жизнь, мрачная и угрожающая. Но не прошла она десяти шагов, как Мозгляков как будто вырос перед нею из-под земли; казалось, он нарочно поджидал на этом месте.

– Зинаида Афанасьевна, – начал он каким-то боязливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что еще было довольно светло, – Зинаида Афанасьевна, Я, конечно, осел! То есть, если хотите, я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-таки поступил благородно. Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был осел… Я, кажется, сбиваюсь, Зинаида Афанасьевна, но… вы извините, это от разных причин…

Зина почти бессознательно посмотрела на него и молча продолжала свою дорогу. Так как на высоком деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина не сторонилась, то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал подле нее

внизу, беспрерывно заглядывая ей в лицо.

– Зинаида Афанасьевна, – продолжал он, – я рассудил, и если вы сами захотите, то я согласен возобновить мое предложение. Я даже готов забыть все, Зинаида Афанасьевна, весь позор, и готов простить, но только с одним условием: покамест мы здесь, все останется в тайне. Вы уедете отсюда как можно скорее; я, потихоньку, вслед за вами; обвенчаемся где-нибудь в глуши, так что никто не увидит, а потом сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так, чтоб с вами был только маленький чемоданчик… а? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите поскорее! Мне нельзя дожидаться; нас могут увидеть вместе.

Зина не отвечала и только посмотрела на Мозглякова, но так посмотрела, что он тотчас же все понял, снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в переулок.

«Как же это? – подумал он. – Третьего дня еще вечером она так расчувствовалась и во всем себя обвиняла? Видно, день на день не приходит!»

А между тем в Мордасове происшествия шли за происшествиями. Случилось одно трагическое обстоятельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гостиницу, заболел в ту же ночь, и заболел опасно. Мордасовцы узнали об этом наутро. Каллист Станиславич почти не отходил от больного. К вечеру составился консилиум всех мордасовских медиков. Приглашения им посланы были по-латыни. Но, несмотря на латынь, князь совсем уж потерял память, бредил, про-

сил Каллиста Станиславича спеть ему какой-то романс, говорил про какие-то парики; иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасовского гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее (вероятно, по дороге) в голову. Не отвергали и некоторого нравственного потрясения. Заключили же тем, что князь давно уже был предрасположен умереть, а потому непременно умрет. В последнем они не ошиблись, потому что бедный старичок, на третий же день к вечеру, помер в гостинице. Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого серьезного оборота дела. Бросились толпами в гостиницу, где лежало мертвое тело, еще не убранное, судили, рядили, кивали головами и кончили тем, что резко осудили «убийц несчастного князя», подразумевая под этим, конечно, Марью Александровну с дочерью. Все почувствовали, что эта история, уже по одной своей скандалезности, может получить неприятную огласку, пойдет, пожалуй, еще в дальние страны, и – чего-чего не было переговорено и пересказано. Все это время Мозгляков суетился, кидался во все стороны, и наконец голова у него закружилась. В таком-то состоянии духа он и виделся с Зиной. Действительно, положение его было затруднительное. Сам он завез князя в город, сам перевез в гостиницу, а теперь не знал, что и делать с покойником, как и где хоронить, кому дать знать? везти ли тело в Духаново? К тому же он считался племянником. Он трепетал, чтоб не обвинили его в смерти почтен-

ного старца. «Пожалуй, еще дело отзовется в Петербурге, в высшем обществе!» – думал он с содроганием. От мордасовцев нельзя было добиться никакого совета; все вдруг чего-то испугались, отхлынули от мертвого тела и оставили Мозглякова в каком-то мрачном уединении. Но вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день, рано утром, в город въехал один посетитель. Об этом посетителе мигом заговорил весь Мордасов, но заговорил как-то таинственно, шепотом, выглядывая на него из всех щелей и окон, когда он проехал по Большой улице к губернатору. Даже сам Петр Михайлович немного как будто бы струсил и не знал, как быть с приезжим гостем. Гость был довольно известный князь Щепетилов, родственник покойнику, человек еще почти молодой, лет тридцати пяти, в полковничьих эполетах и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх от этих аксельбантов. Полицейместер, например, совсем потерялся; разумеется, только нравственно; физически же он явился налицо, хотя и с довольно вытянутым лицом. Тотчас же узнали, что князь Щепетилов едет из Петербурга, заезжал по дороге в Духаново. Не застав же в Духанове никого, полетел вслед за дядей в Мордасов, где как громом поразила его смерть старика и все подробнейшие слухи об обстоятельствах его смерти. Петр Михайлович даже немного потерялся, давая нужные объяснения; да и все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми. К тому же у приезжего гостя было такое строгое, такое недовольное лицо, хотя, каза-

лось бы, нельзя быть недовольну наследством. Он тотчас же взялся за дело сам, лично. Мозгляков же немедленно и постыдно стушевался перед настоящим, не самозванным племянником и исчез – неизвестно куда. Решено было немедленно перенесть тело покойника в монастырь, где и назначено было отпевание. Все распоряжения приезжего отдавались кратко, сухо, строго, но с тактом и приличием. Назавтра весь город собрался в монастырь присутствовать при отпевании. Между дамами распространился нелепый слух, что Марья Александровна лично явится в церковь и, на коленях перед гробом, будет громко испрашивать себе прощения и что все это должно быть так по закону. Разумеется, все это оказалось вздором, и Марья Александровна не явилась в церковь. Мы и забыли сказать, что тотчас по возвращении Зины домой ее маменька в тот же вечер решилась переехать в деревню, считая более невозможным оставаться в городе. Там тревожно прислушивалась она из своего угла к городским слухам, посылала на разведки узнавать о приезжем лице и все время была в лихорадке. Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем в версте от окошек ее деревенского дома – и потому Марья Александровна могла удобно рассмотреть длинную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духаново после отпевания. Гроб везли на высоких дрогах; за ним тянулась длинная вереница экипажей, провожавших покойника до поворота в город. И долго еще чернели на белоснежном поле эти мрачные дроги, везомые тихо, с подобающим

величием. Но Марья Александровна не могла смотреть долго и отошла от окна.

Через неделю она переехала в Москву, с дочерью и Афанасием Матвеичем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородная деревня Марьи Александровны и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки терял такую комильфотную даму! Не обошлось и тут без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвеичем… Прошел год, другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы! так всегда ведется на свете! Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский город, в котором, разумеется, уже забрала всех в руки, что Зина еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвеич… Но, впрочем, нечего повторять эти слухи; все это очень неверно.

Прошло три года, как я дописал последнюю строчку первого отдела мордасовской летописи, и кто бы мог подумать, что мне еще раз придется развернуть мою рукопись и прибавить еще одно известие к моему рассказу. Но к делу! Начну с Павла Александровича Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не

переварив его, по ветрености своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежнего отечества для ревизии или для какой-то другой цели, наверное не знаю. Экспедиция благополучно проехала все леса и пустыни и наконец после долгого странствия, явилась в главном городе «отдаленнейшего края» к генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составляющих ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши. Павел Александрович был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тотчас же немного осел при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина, в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился на кого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугал-

ся самого себя, очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже два года как женился, когда ездил в Москву из «отдаленного края», и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома. Что генеральша «ужасно хороши *из себя-с,* даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвычайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с»; что на настоящем бале всех генералов, своих и приезжих, девять, включая в то число и действительных статских советников; что, наконец, «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею, и что эта маменька-с приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с» – но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвеиче, но в «отдаленном краю» об нем не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марью Александровну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одною из особ 4-го класса. Кругом нее теснилось несколько припадавших к покровительству дам, и Марья Александровна, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми, Мозгляков рискнул представиться. Марья Александровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же, почти мгновенно, оправилась. Она

с любезностью благоволила узнать Павла Александровича; спросила о его петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за границей? Об Мордасове не сказала ни слова, как будто его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-то петербургского важного князя и осведомясь о его здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Александровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему, считая себя уязвленным и даже оскорбленным, он решился не танцевать. Угрюмо-рассеянный вид, едкая мефистофелевская улыбка не сходили с лица его во весь вечер. Живописно прислонился он к колонне (зала, как нарочно, была с колоннами) и в продолжение всего бала, несколько часов сряду, простоял на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но увы! все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарованный вид и проч. и проч. пропало даром. Зина совершенно не замечала его. Наконец, взбешенный, с заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный, потому что не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего, воротился он на квартиру, совершенно измученный и как будто кем-то прибитый. Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое. На другое же утро представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе. Он даже освежился

душой, выехав из города. На бесконечном, пустынном пространстве лежал снег ослепительною пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса.

Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе преспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий и здоровый, совершенно с другими мыслями.

Впервые опубликовано: «Русское слово», март 1859 г.